
БОРИС ФИЛИППОВ

Ленинградский Петербург

**в русской
поэзии и прозе**

1974

БОРИС ФИЛИПОВ

Ленинградский Петербург

**в русской
поэзии и прозе**

Издание второе, пересмотренное и дополненное

1974

Памяти матери

Copyright © 1972
by
La Presse Libre

.
Облокотясь, посмотри за борт, —
Будь счастлив, встречая друга;
Сдержи слова, если друг придет, —
Он смутится, услыша ругань.
Померкло небо и ветер высок,
Безмятежна явь и спокоен сон.
За далекий рейс, за Геракла столбы,
Отчалил Васильевский остров.
Узнай, товарищ, — ты есть и был, —
И, может быть, очень просто
Радость, как лошадь, поднять на дыбы,
На камни Аничкова моста.
На бронзовых мышцах не выступит пот.
Бронзовый юноша, милый брат,
Возжи как струны — ни шагу вперед,
Возжи как струны — приди и сыграй.

Легкие лодки плывут по реке.
Мы вместе с тобой покатаемся вскоре.
Заслонись от солнца, смотри, — вдалеке
Из волн поднялась рогатая морда.
Европа, Европа плывет на быке
Поперек белогривого моря.
Ты знаешь путь — не плыви наугад, —
Ступени нисходят сами.

Выходит бык, и в небо рога —
Рога поднялись над домами, —
С могучих плечей водяной каскад
Журчит, ниспадая на камень. . . .

Александр Котлин

ВСТУПЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕТЕРБУРГ — это сочетание слов кажется парадоксальным, нарочитым. И все-таки это не так. Город, явившийся зерном, символом, средоточием и возглавителем Российской Империи, — этот же город называется ныне колыбелью мировой коммунистической революции. Город Петра, открывшего окно в Европу — он и Город Ленина, это окно тщательно заколотившего.

Очерки, посвященные Ленинградскому Петербургу, поэтому пытаются осмыслить бег событий нашей истории не от дней Петровых, а исходя из опыта наших дней — дней нашего века, стремительно несущегося в терновом венце мировых войн и мировых революционных потрясений. И осмыслить притом не на материале исторических монографий, социологических увражей, мемуаров политических деятелей, а на основе взволнованных страниц старой и современной прозы, палящих строк русской поэзии — от дней Петра и до нашего времени. В сущности, это — поэтический комментарий к «Медному Всаднику» Пушкина. Не больше.

В какой-то мере эти очерки являются и литературным комментарием к дискуссии о путях России, ведущейся на страницах «Русской Мысли». Роль автора очерков — только роль собирателя тех блестящих строк, тех ярких мыслей, какие во множестве были посвящены нашими прозаиками и поэтами Городу и делу Медного Всадника, Городу и делу Ленина. Эти очерки — только мозаика. Но она составлена не из холодных кусочков смальты, а из животрепещущих свидетельств современников.

1. Ленинградский Петербург

МОИ аспиранты-студенты привезли мне из СССР, где они побывали летом этого года, подарок: серию фотографий-открыток «Ленинград в дни войны и мира». Серия предваряется эпиграфом: «Подвиг города-героя Ленинграда останется навсегда в памяти поколений. И каждое свидетельство, напоминающее об этом священной подвиге, совершенном ленинградцами, каждая подробность, говорящая о днях борьбы и победы, являются драгоценными для потомства» (Николай Тихонов).

И каждая удлинённая открытка этого альбомчика содержит две фотографии: то или иное место города во время войны — фотография чернобелая («тёновая»), — и оно же «в дни мира», в годы 1966-67, — фотография в красках. Поражает не только эстетическое, но и этическое безвкушие альбома. Вот, например, трагический снимок одного из бесчисленных эпизодов, ежечасных эпизодов дней блокады. На детских санках истощённые, еле передвигающие ноги женщина и мужчина тянут по заснеженной морозной улице укутанные в какие-то тряпки трупы умерших от голода и холода своих родных: мужа или жены, сына или дочери... Вспоминаются невольные строки пережившей блокаду Ленинграда Ольги Берггольц:

...А город был в дремучий убран иней,
Уездные сугробы, тишина...
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
Одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья,
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных...

А на соседней цветной фотографии — дебилая аляповатая «родина-мать» с бронзовой торжественностью венчает гирляндой символическую могилу миллионов погибших в блокаду ленинградцев...

Подумаешь, утешение! Ведь это напоминает и посмертные реабилитации запытаных и расстрелянных во время сталинского террора. Тот же гнусный цинизм, бесвкусный, пошлый. Один из персонажей Солженицына говорит, что он винит в этом миллионе погибших ленинградцев не столько окруживших город гитлеровцев — они ведь враги! — сколько Сталина и правительство: болтали, хвастились, что будут бить врага на его, врага, территории, — и даже не удосужились заготовить продовольствие и надёжно его упрятать от вражеских бомбежек...

И ещё: группа одетых во что попало и вооружённых чем попало ленинградцев — молодежи и даже подростков — идут в строю на фоне Александринского театра. Это — «отряд Всевобуча на площади Островского». Они, кое-как обученные, кое-как вооружённые, направляются на фронт, близкий — чуть ли не прямо за Нарвскими воротами города:

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки, —
«Жизнь свою за други своя», —
Незатейливые парнишки,
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья.

(Ахматова).

А рядом красочная иллюстрация того же места — и молодой паренек разговаривает с барышней, они улыбаются, они радуются ранней солнечной осени... Какая-то грубая пародия на пушкинские строки: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть»... Разве новая оштукатурка и окраска зданий и даже бронзовая «родина-мать» над безымянной братской могилой хотя бы в малой степени искупают смертные муки погибших — и смертные муки переживших своих мужей и братьев, матерей и сынов?! Нет, крепче бронзовых истуканов поминальные святцы родных и близких:

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!

Захлопываю святцы,

И на колени все!

Багряный хлынул свет.

Рядами стройными выходят ленинградцы —
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет.

(Ахматова)

...И этот паршивый, безвкусный альбом все-таки воскресил в памяти бесконечно дорогой — и «самый умышленный город на свете», как назвал Петербург Достоевский. Воскресил в памяти и Санкт-Питерсбурх, и Петербург, и Петроград, и город моей молодости — Ленинградский Петербург — город, старые строгие камни которого как-то еще сохраняли и в жителях опальной бывшей столицы, перелицованной в город Ленина, дух старого Петербурга...

Да, окно в Европу, грубо-дерзостно, но резко и решительно прорезанное Петром, было уж заложено накрепко Лениным-Сталиным:

Окно з Европу! Проработав
Свой скудный век, ты заперто,
И въезд торжественный Ламотов —
Провал, ведущий нас в ничто.
Кому ж грозить возмездьем скорым
И отверзать кому врата,

Коль торг идет родных просторов
И смерти — именем Христа? —

вопрошает в «Новой Голландии» Бенедикт Лившиц. Да, и заложено-то окно в Европу в Ленинградском Петербурге было кирпичами от взорванных старых церквей: недаром и шутили ленинградцы, называя руины церквей «производством кирпича по системе Ильича». Но петербуржане — еще недобитые и не вымершие от голодухи — все так же крепко любили свой город, город на костях строителей, но город прекрасных чистых линий и строгих пропорций, столь отличный от расплывшейся кумы-купчихи Москвы: бывший большой поэт, Николай Тихонов, писал в годы своей талантливой молодости:

Я строил этот город, я погиб,
Швырнули труп в болото, —
Вот почему мне дорог здесь изгиб
Любой стены, любого поворота...

И другой бывший поэт писал в дни своей относительно еще вольной молодости, оплакивая судьбу города Медного Всадника, Всадника, открывшего окно не столько в Европу *созидания*, сколько в Европу хищного революционно-индустриального рассудка, рассудка обездуховленного и обезбоженного, несущего смерть: Павел Антокольский вернулся с совершенно иным чувством к пушкинскому «кумиру на бронзовом коне»:

Се-Аз лечу. За мною войск когорты,
Качается набатом каланча...
...Траншеи, развороченные шпалы, —
Казармы смрад, жар топок паровых, —
Так начался поход машин усталых
На хищный разум, высколивший их.
На костылях, всей грудью припадая,
Откинув дым со лба, крича: назад,
Грядет за мной голодная орда их.
Окно в Европу стало срывом в ад.

Может статься, ни один из городов России, ни один из городов СССР не пострадал так, не был так обескровлен, как Ленинградский Петербург. «После стихов и статьи о гибнущем городе, у Мандельштама впервые появились чисто эсхатологические слова о земле без людей. Случилось это в Петербурге 1922 года — в статье "Слово и культура"» Мандельштам называет Петербург самым передовым городом, потому что в нем первом появились симптомы конца: "Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроеет место современных городов... Наша кровь, наша музыка, наша государственность — все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы"... Осознав неизбежность конца, Мандельштам говорит о тщетности всех попыток предотвратить его:

"Остановить? Кто остановит солнце, когда оно мчится на воробьиной упряжке в отчий дом, обуянное жадой возвращения?" Здесь солнце уподобляется всему человечеству..., и Мандельштам предлагает подарить его дифирамбом вместо того, чтобы "вымаливать у него подачки". В двадцать первом году Мандельштаму стало ясно, что человечество, отказавшись от дара жизни, идет — предначертанным ли путем? — в небытие, откуда некогда было вызвано» (Надежда Мандельштам. Вторая книга). А через несколько лет, вернувшись в свой бесконечно любимый — и уже бесконечно чужой — город, город, «знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез», уже не хочет умирать, хорошо вместе с тем сознавая неизбежность личной и мировой гибели:

...Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера .
Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне бьрванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Сколько ленинградцев — не только ленинградских петербуржан, но и представителей полнокровного послереволюционного, стопроцентно осовеченного населения, «всю ночь напролет» ждали «гостей дорогих», и уезжали из ленинградских коммунальных квартир в черных воронах в никуда, в провал, в смерть! Но ведь «колыбель мировой пролетарской революции», ее «цитадель», Петроград-Ленинград, — это не эпизод, а лишь пролог мировой трагедии — Октябрь 1917 года — подлинное начало двадцатого века, пришедшего для всего человечества в терновом венце мировых войн и революций — —

А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век...

(Ахматова)

Это давно крепко прочувствовал Александр Блок, а еще задолго до него Гоголь, Тютчев, Достоевский и Константин Леонтьев. Блок еще в 1908 году писал: «Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы, вызванное чрезмерным накоплением реальнейших фактов, часть которых — дело свершившееся, другая часть — дело, имеющее свершиться. ...Человеческая культура становится все более железной, все более машинной; все более походит на гигантскую лабораторию, в которой го-

товится месть стихии: растет наука, чтобы поработить землю: растет искусство — крылатая мечта — таинственный аэроплан, чтобы улететь от земли; растет промышленность, чтобы люди могли расстаться с землею. Всякий деятель культуры — демон, проклинающий землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее. ...Распалась месть Культуры, которая вздыбилась "стальной щетиною" штыков и машин. Это — голько знак того, что распалилась и другая месть — месть стихийная и земная. Между двух костров распалившейся мести, между двух станов мы и живем. Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под "очерпевшей лавы"? ...Так или иначе — мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в **сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа**. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы». А через пять лет Блок писал еще отчетливее: «Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной».

Хочется перелистать страницы литературно-историософской истории Петербурга-Ленинграда. Это поможет понять и истоки нашей трагедии. Это, может статься, даст нам увидеть и ростки нового, может быть, какого-то возрождения. Петербург Петра и Пушкина; Петербург Гоголя и Достоевского; Петербург-Петроград революционного предбурья; Ленинградский Петербург — вот темы, на которых мы остановимся.

2. Санкт-Петербург Петра и Петербург Пушкина

ЗА Неву и южные берега Балтики испокон дрались русские — и со шведами, и с орденами немецких псов-рыцарей. С Невой связаны имена князя Александра, Ивана Грозного и немалого числа русских воителей. Ведь устья Невы входили в Водьскую пятину Господина Великого Новгорода, ведь долгие и томительные Ливонские войны вел Грозный, и рожденный на московском сухопутье, но сызмлада возлюбивший морские дали и свежий морской ветер Петр не мог не мечтать о переносе стольного града и всей основной устремленности России туда, где полноводная Нева катит свои волны в Балтику, а оттуда дальше и дальше — вплоть до Атлантических просторов.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Нева неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море...

(«Медный Всадник»)

Летопись дней Петра — запись одного из «птенцов гнезда Петрова», рассказывает, как «Господин капитан бомбардирский (то есть сам Петр, в то время имевший чин капитана артиллерии) изволил осматривать близ к морю удобное место для здания новой фортеции и потом в скором времени изволил обыскать единый остров, зело удобный положением места, на котором вскоре, а именно мая в 15 день, в неделю Пятидесятницы фортецию заложили и нарекли имя оной Сан-Питербурх» (1703). «Поднять Россию на дыбы»: силком, батогами и дыбой, но повернуть ее лицом к Европе, сделать дремотную Московию могучим фактором «европейской политики», — для этого понадобилась и мучительная, более двух десятилетий длившаяся война с сильнейшей тогда в Европе шведской армией, и перенапряжение всех сил русского народа. Да еще: легко ли строить

столичный парадиз, Пальмиру Северную, вознести «юный град, полночных стран красу и диво, из тьмы лесов, из топи блат» прямо на виду у шведов, на Неве, то и дело заливавшей бревенчатые настилы ранних набережных столицы?

Море спорило с Петром:
«Не построишь Петрограда!
Покажу я шведский гром,
Кораблей крылатых стадо». ...
...Речь Петра гремит в ответ:
«Сдайся, дерзостное море! —
Нет, так пусть узнает свет:
Кто из нас могучей в споре?»

(Степан Шевырев)

В 1713 году столицей России становится Сан-Петербург. Но уже с 1712 года новый город становится постоянной царской резиденцией. В 1714 году из Москвы в Питер переводится Сенат. В том же году указом царским запрещается по всей стране, кроме столицы Невской, всякое каменное строительство. Указ несколько смягчается в 1721 году разрешением достройки в Первопрестольной и других городах начатых постройкой до 1714 года каменных церквей. Только через несколько десятилетий последовала окончательная отмена этого указа, стремившегося форсировать рост новой столицы, уже к концу Петрова царствования насчитывавшей 70-80 тысяч жителей.

Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно горделиво. ...
...И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфирноносная вдова.

И вся последующая история Государства Российского, вплоть до 1918 года, неразрывно связана с Санкт-Петербургом — Петербургом-Петроградом. Да, постройка парадиза Петрова дорого обошлась народу и стране: не только десятков тысяч померших от болотных лихорадок, сквернейшей тухлой пищи и палок капралов-надзирателей холопов-строителей; не только тьмы запятанных и казенных беглецов со строительства.

Нет, волей или неволей, но прервалось органическое, самобытное течение русской истории, прервалась и нить, соединяющая культуру русских верхов общества с издавней и вполне уродившейся византийско-эллинской традицией; истреблены были властной рукой Императора-Самодержца последние остатки земщины. Государство и его власть стали непомерно распухать и крепчать, отдельная же личность становилась все более ничтожной статисти-

ческой единицей... Россия Петербургская — Россия с навеки расколовшейся душой и культурой: народная (крестьянская и купеческая, церковная и староверческая) развивалась более или менее самобытным исконным путем (и провинциальные помещики были ей близки), официальная же культура верхов совершенно от народа и его истоков оторвалась, стала народу чуждой, непонятной, зачастую прямо враждебной.

И народ ответил бунтами, самосожжениями, прямым объявлением Петра — Антихристом. Государство не земское и не аристократическое, а — волею Императора или неволею военных и международных обстоятельств — военно-бюрократическое, обездуховленное, чисто технократическое, оно не могло быть принятым или хотя бы понятым основными толщами народа. На розыске с великой кровью, на дыбе, клещами раскаленными вырывались у недругов Петра, к примеру, из круга монаха Авраамия, показания о том, на что ропшет народ российский: «государь не изволит жить в своих государских чертогах на Москве, и мнится..., что от того на Москве небытия у него в законном супружестве чадородие перестало быть, и о том в народе велми тужат» (С. М. Соловьев. История России..., кн. VII, 1962, стр. 574).

Вот и пришли последние времена на Белой Руси: «От лета 7220 (1712), егда первым императором счинися опись народная, тогда он нача повсюду искать беглых... оных бегствующих мира хватати...» («Цветник» основателя секты бегунов Евфимия). Едино спасение — в самосожжении, коли нет уже возможности бежать в непроходимые леса и дальние черкасские степи. Чур, чур нас, Антихрист! Расточи ковы вражды, Спасе наш!

Но можно ли было — в тех обстоятельствах — не идти путем Петровым? Конечно, много излишнего было от темперамента и от нелюбви Петра к природно-русскому. Но ведь, к слову сказать, и максимализм Петра — такая природно-русская черта! И как бы ни была неорганичной вся последующая русская культура русских верхов, — но именно она дала и гениальную архитектуру Петербурга и окрестных дворцовых резиденций, и русскую литературу, и русскую науку, и русскую музыку и театр.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный...

И «птенцы гнезда Петрова» искренне и от всего сердца называли Императора полубогом, и — словами канцлера, Графа Головкина (в речи 22 октября 1721 года) — приветствовали царя: «Вашими неусыпными трудами и руководством мы, ваши подданные, из тьмы неведения на феатр славы всего света, и тако реши, из небытия в бытие произведены и во общество политических народов произведе-

ны». А посему соработники того, кто «на троне вечный был работник», —

Не верили, что Петр един от смертных был,
Но в жизнь его уже за бога почитали.

(Ломоносов)

Были — при Петре и после него — и хулители его дела, и строгие его критики из среды как раз европейски образованных кругов: ведь уже его сотрудник Василий Никитич Татищев ставил вопрос — нужно ли было так грубо и злобно ломать все устои прежнего быта и прежней культуры? А князь Щербатов и свое рассуждение прямо наименовал «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого». Даже легитимист Карамзин писал в конце века, изживавшего Петрово дело — но и наследовавшего его направленность: «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государства», и потому-де презирал питавшую этот дух традицию, старину, «древние навыки» и «народные особенности». Но эти одинокие почасту критические реплики в среде новокультурной покрывал гул хвалений и воскурений фимиама со стороны — в особенности — непосредственных выученников и сотрудников Императора, практиков-строителей имперской мощи, военной и промышленной, коммерциальной и заводской. Ведь — и правду надо признать — Петр был величайшим организатором, он не только изнасиловал сыроватую бабью природу исконной Руси, но и по-мужски грубо, но мощно кристаллизовал расплывавшееся тело государства. Так «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». И современники «на троне вечного работника», и следующее за ними поколение свидетельствовали, что Петр «научил узнавать, что мы люди; одним словом: на что в России не взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь не делалось, от сего источника черпать будут» (Иван Неплюев);

Российский Вифлеем — Коломенское село,
Которое Петра на свет произвело.

(Сумароков).

Петр и Петербург Пушкина — много сложнее. Да, облик их у Пушкина — велик и монументален. Да, Пушкин еще бесконечно любил Петербург, «Петра творенье» и умел наслаждаться красотой его строгих линий (это вернется в русскую культуру лишь в конце прошлого века), — но Петр у Пушкина уже нечто двоящееся, божеское и демоническое, расковыливающее и поработщающее, гениально-положительное и творческое — и гениально-демоническое и разрушающее начало. И если в «Арапе Петра Великого» Император дан более творчески-положительно, если там он — созидатель и работник, — то уже в «Езерском» он — разрушитель культурных устоев и национальной традиции, носителями которых, нравится это нам или не нравится, но для Пушкина была старая родовая аристократия:

Мне жаль, что сих родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух.
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух ...
...Что исторические звуки
Нам стали чужды, хоть спроста
Из бар мы лезем в tiers-état...
...Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава;
Что геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!

А, главное, государство совсем, окончательно задавило свободную, независимую человеческую личность. Старая родовая аристократия была все-таки каким-то островком независимости и чести... Теперь же, перед обезличенным и обескровленным духовно человеком — стоит всемогущее и безразличное к страданиям, устремлениям, мукам и радостям отдельных людей государство. Самодержец. Медный Всадник. Куда это может завести? Не к тому ли, что рано или поздно, но неизбежно — сдерживающие стихию народного горя и возмущения государственные формы не выдержат, расползутся по швам, и «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» стихийной лавой затопит и сожжет все и вся... Символ тотальной мощи государства — Медный Всадник — трагическая судьба России. Это он, «в темных лаврах гигант на скале», — тот — —

...чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздай железной
Россию вздернул на дыбы?

Над самой бездной... У Пушкина это — как и его любовь к городу Медного Всадника — только предчувствие, только предугадывание. Чувство и мысль, оценка Петра и его Города, и его дела — двоятся, мучительно, но и поэтически. Любовь к форме, к организации инертной материи берут чаще всего еще верх. Ведь Пушкин — единственный в русской культуре полнокровный и полноценный европеец, притом европеец не европейского Просвещения, а какого-то обновленного Ренессанса. И как не бояться ему, что Медный

Всадник не обуздает, не сможет унять огнедышащую стихию «бессмысленного и беспощадного русского бунта»; и как ему не страшиться, что Император сам не разнуздает своего бешеного коня, не развяжет скованного титана революции. Россия давно, а особенно в Петербургскую эру, пошла путем уравнилельных революций *сверху* и кровавого разрезания социальных проблем *сверху* и *снизу*. И Пушкин в разговоре с великим князем (Дневник, запись 22 декабря 1934 года) недоумевал, отвечая на вопрос великого князя: «зачем составлять *tiers état*, сию вечную стихию мятежей и оппозиций?..»: «Что касается до *tiers état*, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много... Vous êtes bien de votre famille, сказал я ему (великому князю, БФ): *tous les Romanof sont révolutionnaires et niveleurs*,..”.

Нет, — это не хрестоматийный Пушкин — монархический ли или советский: это не без пяти минут декабрист и не верноподданный легитимист. Это — гениальный умник — и явный сторонник того, что можно было бы обозначить, как **аристократическую демократию**. Ведь такой и была она в древних Афинах и Риме, в Господине Великом Новгороде и старом Пскове. И в городских республиках Флоренции и Венеции. Там, где цвела и подлинная культура. И Пушкин явно боялся: а не хрупка ли мостовая петербургских улиц? Выдержит ли она натиск подземных стихий бунта и разрушения, эта культура Петербургской России? Но он и любил эту культуру, ибо хорошо понимал: вопрос о происхождении — и оценка — это совсем разные вещи. И хотя Петербург и петербургская культура и возникли на крови и рабстве, но сама-то культура прекрасна и гармонична. А вот выдержит ли она, вышедшая из топи блат, да над такой уже едва ли отвратимой бездной?

3. Петербург Гоголя и Достоевского

«**С**ЛАБЕЛ Пушкин — слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. ...Во второй половине века, то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку», — так отпел Пушкина и «единственную культурную эпоху в России прошлого века», культуру ампириного Петербурга, Александр Блок в своей речи «О назначении поэта», произнесенной в 84-ю годовщину смерти поэта.

Послепушкинские поколения разучились видеть красоту и строгую гармоничность трагического, но прекрасного Города. Не мудрое двоесливие Пушкина — и воспевающего гармонию организованной формы, и устрашающегося заключенной в тонкие и хрупкие формы холодного хрустального имперского сосуда стихии, бунтарской и дикой лавы; нет, чисто социально-этическое и социально-психологическое отношение к городу на Неве, по-своему тоже глубокое, но во всем видящее лишь мучительную дисгармонию. Уже Аполлон Григорьев любил «его, громадный, гордый град» «не за то, за что другие»:

Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
Я прозираю в нем иное —
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание болезненное. ...
...И пусть его река к стопам его несет
И роскоши, и неги дани, —
На них отпечатлен тяжелый след забот,
Людского пота и страданий.
И пусть горят светло огни его палат,
Пусть слышны в них веселья звуки, —
Обман, один обман! Они не заглушат
Безумных страшных стонов муки!
Страдание одно привык я подмечать...

«...все дышит обманом, — вторит Аполлону Григорьеву Гоголь: — Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит палевые стены домов, когда весь город превращается в горы и блеск, мириады карет валяются с мостов, фореиторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон, зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде» («Невский проспект»).

Евгений «Медного Всадника» грозил бессильным кулаком обидевшего и вконец обобранного аристократа (даже невесту отняла

от него петровская столица!) и шептал угрозы все-таки Медному Всаднику:

«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..»

А кого может корить, кому может хотя бы кукиш в кармане показать «вечный титулярный советник», несчастный-разнесчастный Акакий Акакиевич? Лишь после смерти, чиновником-привидением, хватает он за шиворот «значительное лицо», да и то всего лишь **департаментного** штатского генерала... И если даже у героя отвалится нос, как у майора Ковалева, и если герой встретит этот самый свой собственный нос в шляпе с плюмажем и шпагой на боку, но в мундире другого совсем ведомства, самостоятельно и раздельно от своего хозяина, своего собственника; а ведь нос, его, Ковалева, нос разгуливал, разъезжал в карете, «и с выражением величайшей набожности молился» в Казанском соборе! —

«Как подойти к нему? — думал Ковалев. — По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!..» Даже собственные органы тела перестают повиноваться своему господину, а подчиняются сложно-мундирной, прямолинейно-иерархической бюрократической машине Петербургской России. Государство обезчеловечивает человека, дробит его душевную и физическую личность — где уж тут шептать «Ужо тебе!» Медному Всаднику! А тут еще без займов не проживешь, а алчные ростовщики даже после своей смерти клещами вытягивают все соки, всю душу у должников своих...

Не лучше ли быть эдаким вылощенно-безмозглым поручиком Пироговым, коего выпороли за шашни с прелестной немочкой муже — питерский немец-ремесленник, и его друг — немец-сапожник. «Он (Пирогов) разом хотел подать письменную просьбу в главный штаб. Если же главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в государственный совет, а не то самому государю. Но все как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из "Северной Пчелы" и вышел уже не в столь гневном положении».

Зато тяжело, непомерно тяжело мечтателям-чудакам, идеалистам и носителям творческой фантазии, таким, как художник Пискарев: «Но в это время подошел (к ней, воплощенной мечте художника, встреченной на улице красавице, БФ) довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак оставаться на месте и ожидать ее прихода... «Но разве удержишь романтика-мечтателя? Он ринулся за Мечтой-Дульсиной, — — и очутился в публичном доме: его Дама оказалась даже не скотницей-Альдонсой: — проституткой.

И другой — мечтатель «Белых ночей» Достоевского, — обделенный счастьем — обделенный любовью, и жадно хватающийся за призрак

любви, за дружество любящей другого, другого ждущей: «— Послушайте, послушайте! ...Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях...» И как больно бьет этих фантазеров, прекраснодушных и слабых, и в слабости своей пленительных, как чуть чахоточные белые ночи Петербурга, — как хлещет их жестоко реальная жизнь! И одни из них, кто немного по-активнее, идут в лирическую литературу, кто несколько более заражен этицизмом — «в кающиеся дворяне», уже в факте построения Столицы на костях видящих и свою вину... На топях и непролазных болотах строилась Империя, создавалась имперская мощь и культура. На крови. На костях воздвигнут и город-вампир. Строили Петербург согнанные со всей Руси крепостные, да каторжане из беглых солдат. Сгоняли их

Лес валить дремучий, засыпать болота,
Сваи колотить —
Годик был тяжелый, за Невою в лето
Вырос городок!

В «Миазме» прекраснодушного — тоже петербургского мечтателя! — Полонского один вот из десятков тысяч таких загубленных на строительстве имперского парадиза — Петербурга — мужичков, мужичонко-призрак, является матери погибшего от болотных миазмов ребенка и рассказывает о смерти своей:

Умер — и шабаш!
Вот на этом самом месте и зарыли...
Барыня, поверь,
В те поры тут ночью только волки выли —
То-то ли теперь!
Ге! Теперь не то что... миллион народу... —
Стены выше гор,
Из подвальной ямы выкачали воду —
Дали мне простор...
Ты меня не бойся: — что я? Мужичонко!
Грязен, беден, сгнил,
Только вздох мой тяжкий твоего ребенка
Словно придушил...

Ответственность всех за вся... У Достоевского она — основная заповедь христианского сознания. У «кающихся дворян» — призыв идти в народ, искупать свою родовую вину — социалистический вариант первородного греха... Некоторые начинают подходить к живой жизни с новым непреложным катехизисом — материалистической статистикой и социальной рецептурой из западных сенсимонистских, фурьеристских, а потом и отечественных белинско-чернышевских брошюр... Разве не окупится, мол, одна ничтожная жизнь, отнятая

у не человека — кровопийцы-вши, гнусной старушонки-процентщицы, — на деньги которой можно избавить от голодной смерти, возолить из домов разврата десятки униженных и оскорбленных? И Раскольников берет топор, — и — как в чаду, как в трансе, идет убивать старуху-ростовщицу. А затем понимает, что не старушонку он зарубил, а себя самого убил, ибо не приложима социальная статистика к живой жизни.

Теперь Петербург уже не город стремительно летящих вдаль проспектов, стройный, несколько сухопарый, закованный в гранит красавец. Город дворцов и парков остается где-то по ту сторону желтых невских туманов, а вперед выступают с обвалившейся штукатуркой многоквартирные дома облезлых переулков, осклизлые, провонявшие кошками и разлитым супом из дешевых кухмистерских черные лестницы, покрытые плесенью, с отстающими обоями комнатенки городской бедноты. Не элегантный Евгений Онегин в его широком боливаре, в панталонах палевых или «цвета бедра испуганной нимфы», обтягивающих нервную ногу русского дэнди, а жидколягий оборвыш-студент «Преступления и наказания» или «Униженных и оскорбленных», хмуро-лохматый и угрюмо-застенчивый, а потому грубо обрывающий оппонента, дерзкий более благоуспевающему. Целые поколения разучаются видеть красоту и гармонию Петербурга. Целые поколения забывают и Пушкина. А те, что помнят и любят его, читают его по-другому, берут из него не певца мощатовского приятия жизни, восклицавшего:

Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма! — —

— — нет, теперь и Пушкин раскрывается на других своих страницах:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Не «глагол времен, металла звон» меднозвучного Гаврилы Державина; не «сионские высоты» и яснодушность Пушкина, — нет, — надрывный, срывающийся неровный голос Некрасова —

...Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...

Для него, Некрасова, Петербург — чухонская столица: «она до наших дней с Россией не слилась»;

Театры и дворцы, Нева и корабли,
Несущие туда со всех сторон земли
Затеи роскоши; музеи просвещения,
Музеи древностей — «все признаки ученья»
В том городе найдешь; нет одного: души!
Там высох человек...

Так, балагания и пародируя «Медного Всадника», от всей души про-
клиная Некрасов Северную Пальмиру.

В туманы желто-бурые уплыла столица «в гранит одевшейся Не-
вы», скрылись за ними дворцы. Лишь одинокая Неточка жадно при-
слушивается к далеко звенящим скрипкам и густому меду виолонче-
лей за горящими алыми занавесями барского особняка. Большинст-
во же или проходит мимо особняков со злобно сжатыми кулаками
— или ушло в свое каменное и душевное подполье...

«Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается иль не
желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел
сделаться. ...Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это
болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода
слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого созна-
ния, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая
достается на долю развитого человека нашего несчастного столетия
и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге,
самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре.
(Города бывают умышленные и неумышленные). Совершенно было
бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так
называемые непосредственные люди и деятели...» («Записки из под-
полья»).

Сознавать — и не мочь. Сознавать — и ясно чувствовать всю
свою, человеческую, непригодность для дел добра, для творчества
подлинно-прекрасной жизни. И это — не только сомнение в себе
самом, человеке из подполья. Нет, «подполье» это — в каждом че-
ловеке. «Чем больше я сознавал о добре и о всем этом "прекрасном
и высоком", тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее
был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что
все это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и сле-
довало так быть. Как будто это было мое самое нормальное состоя-
ние, а отнюдь не болезнь и не порча...» В наши дни наивно-мудро и
хорошо повторит за Достоевским эту мысль молодой Юрий Галан-
сков, сведя ее, правда, только к одному из ее аспектов — социально-
этическому: «Жизнь слишком греховна, чтобы рай на земле мог
быть утвержден в результате переговоров между болтунами».

В чем же выход? По тому ли пути пошла Петербургская Россия?

4. «Питер, что народу бока повытер»

ПО тому ли пути пошла Петербургская Россия? Не был ли путь Петра и скороспело, односторонне (лишь технически, вернее, всенно-технически, а затем — и социально-идеологически) проводившаяся европеизация, проводившаяся притом методами «революций сверху», — — путем, разрушавшим самые устои русского общества, русского народного самосознания, русского самобытия? Ставили этот вопрос и европейски просвещенные, на высоком уровне европейской культуры стоявшие славянофилы (чего нельзя сказать о невежественном как вывеска Белинском и огромном большинстве западников), кричал во весь голос об этом Достоевский: — — «Господи, да какие мы русские — мелькало у меня подчас в голове... Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То-есть, я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну, вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого первого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились — с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостью, другие, разумеется, со злобой за то, что мы не доросли до этого перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что мы не переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это не вздор. Неужели же не вздор? А что если и в самом деле не вздор?» («Зимние заметки о летних впечатлениях»).

Это совсем не «квасной патриотизм». Ведь француз потому и француз, и потому и **европеец**, — что он **француз**. Ведь англичанин, немец, швед, испанец, итальянец только потому **европейцы**, что каждый из этих народов культурно **самобытен**, а не является скопищем тех «средних европейцев», обезличенных средне-буржуазных существователей, которым, по вешему слову Константина Леонтьева, надлежит завершить и закончить, навеки убить европейскую культуру. Впрочем, К. Леонтьев не верил, что Россия спасет мир, что в русском народе панацея от всех социальных, идейных, политических и культурных болезней человечества. Напротив, он полагал, что «русское общество, и без того эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и —кто

знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет учитель Новой Веры, — и мы, неожиданно, из наших государственных недр, сперва бессловных, а потом бесцерковных... родим Анти-христа...»

Леонтьев явно перекликается здесь с самосожженческими расколуучителями Петровских времен, видевшими в Петре «оморок мирской», антихриста, прижитого немкой, смесителя всего и вся в одну кровавую чертову массу, порушителя устоев подлинной жизни. Ну, как и у К. Н. Леонтьева, уверенного в том (а его еще называют «славянофилом»!), что «мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы окончательно смешав всех и вся, написать последнее "мене-текел-фарес" на здании всемирного государства для того, чтобы окончить историю, погубив человечество в разлитии всемирного равенства...». Это смешение началось в России давным-давно: Иваны — дедушка и внучек — Третий и Грозный, а, главное, Петр, который «до конца не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни» (В. О. Ключевский).

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы, и где мы,
Знаю только, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки. ...

(Иннокентий Анненский)

«Быть Питербурху пусту» — пророчили самосожженцы-раскольники. Даже умственно-невинный, но обладавший песенным даром Игорь Северянин вторит этим словам:

Ты проклят. Над тобой проклятья.
Ты точно шхуна без руля.
Раскрой же топкие объятия
Держащая тебя земля.

Но можно ли, легко и бездумно, отказаться от Петра и Петербургской культуры? Ведь именно она дала России ее позднее цветение, дала того же Достоевского, дала хрупкое, антигосударственное, но такое характерное и такое оригинальное историческое образование, как русская интеллигенция, в высшем, творческом ее слое? Пусть тонок этот слой русской петербургской культуры. Пусть неорганична она, пусть она, по выражению умного (это не так часто!) марксистского критика Михаила Левинова, все равно, что «шелковый цилиндр на вшивой голове»: дворцы Растерелли и Росси — и непролазные проселочные дороги, по которым «едешь, а за тобою вся Россия на колесах грязью тянется»; Пушкин, Гоголь, Мусоргский, Достоевский — и 80% неграмотного населения к концу классического, плодотворного XIX века... И все же: «У нас создался веками какой-то еще не бывший высший культурный тип, которого нет в целом мире — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, только тысяча человек, но вся Россия жила пока лишь для того, чтобы произвести эту тысячу», — говорит Версиков у Достоевского («Подросток»). Во всяком случае, прямо вопроса не решить: двоясловие, двоемыслие, свойственные Пушкину в оценке Петра и Петербурга, остаются в полной силе и теперь...

Но «прижатая змея» сомнений и бунта, недовольства и революции, да еще и внутреннего распада Империи на Русь, Рассею и Россию — на староверскую, старозаветную и интеллигентскую страну всегдашнего раскола, — эта змея никак не раздавлена Петром и Петербургской государственностью. Она порождает правомерное брожение умов и страстей: человеческое моральное сознание не мирится с социальной несправедливостью и бедой народных масс. Но механический, статистический подход к живой народной жизни порождает неизбежно марксистскую материалистическую шигалевщину:

Я напишу: «Завет мой — Справедливость!»
И враг прочтет: «Пощады больше нет»...

(Максимилиан Волошин)

И, во имя новомодных теорий, брошюрно-легковесного идеологизирования, теорий и брошюрок, напрокат взятых и плохо даже усвоенных, идя от исконной Руси в Европу, — на деле от Европы отворачиваются целые поколения социальных теоретиков и революционеров:

5. Петербург-Петроград революционного предбурья

ЗВУЧИТ это парадоксально, но национальные мотивы более заметны в искусстве и литературе, в философской мысли Петербурга, а не Москвы. Достоевский, а в двадцатом веке Сологуб, Блок, Ахматова, Клюев, Заболоцкий — в литературе; Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Стравинский, Прокофьев (а до них — Глинка и Даргомыжский) — в музыке... Когда поперек горла представителям русской культуры становятся обязательные «невидимые миру слезы», гражданская скорбь и исключительное, всепоглощающее внимание к социально-политическому резонансту и сентиментализму; когда даже передовые студенты начинают понимать — пусть еще не все, а меньшинство, но все-таки не все, — что в культуре и духовной жизни свет не клином сошелся на материализме-марксизме-атеизме-социализме, что «Выдь на Волгу, — чей стон раздается» — вовсе не лучшие русские стихи, — появляются и люди, наслаждающиеся строгой красотой Петербурга, видящие не только кровь и пот его строителей, но и его величавую гармонию.

...Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязненно господство;
Но создал пятаю свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря, —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря.

(Мандельштам)

«Мир Искусства» и художники, сгруппировавшиеся около него — художники кисти и пера, звука и архитектурных линий, начинают увлеченно и упоенно воспевать Город Петра, стремительность его линий, элегантную дорогую простоту его набережных, величавость его дворцов, сам строй его жизни:

Петербуржанке и северянке
люб мне ветер с гривой седой,
тот, что узкое горло Фонтанки
заливает невской водой.
Знаю, будут любить мои дети
невский седобородый вал,
оттого, что был западный ветер,
когда ты меня целовал.

(М. Шкяпская)

Да молодости не до историософского пессимизма! Глубокие раздумья избородят лоб Анны Ахматовой позже, а сейчас ей, петербуржанке тоже, хочется только жить, любить, полной грудью:

Сердце бьется ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Для Блока, стоящего на грани двух веков, еще продолжающего дышать воздухом «миллиона терзаний» века девятнадцатого, не таков Петербург, не таков и Медный Всадник, господствующий над Городом:

Он спит, пока закат румян,
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится змей, копытом сжатый.
Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами.
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя. ...
...Плащами всех укроет мгла,
Потонет взгляд в манящем взгляде.
Пускай невинность из угла
Протяжно молит о пощаде!
Там на скале веселый царь
Взмахнул зловонное кадило,
И ризой городская гарь
Фонарь манящий облачила! ...
...Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.

Петербург — аномалия. Петербург, нацело оторвавшийся от нравственной и физической природы всей коренной России, — мираж а, может статься, не вполне мираж? Для москвича Андрея Белого... «прочие русские города представляют собой деревянную кучу домиков. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду — существование полуторамиллионного московского населения, — то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует» («Петербург»). Какая переключка с Гоголем и Достоевским! Блок тоже великолепно чувствует эту обреченность и

эту невосприимчивость Петербурга и Петербургской России. Еще в год первой революции, в 1905 году, видит он эту близкую гибель Петербургской империи:

Еще прекрасно серое небо,
Еще безнадежна серая даль.
Еще несчастных, просящих хлеба,
Никому не жаль, никому не жаль!
И над заливами голос черни
Пропал, развеялся в невском сне.
И дикие вопли: «Свергни. О! Свергни!» —
Не будят жалости в сонной волне...
И в небе сером холодные светы
Одели Зимний Дворец царя.
И латник в черном не даст ответа,
Пока не застанет его заря.
Тогда, алея над водной бездной,
Пусть он угрюмый опустит меч,
Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной
За древнюю сказку мертвым лечь...

Революционные страсти накаляются, оппозиционные настроения охватывают общество сверху донизу, — и ни эстетские побрякушки, ни религиозно-философские разглагольствования не спасут: «все это становится модным, уже модным — доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам. А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко...».

Зачем же это «идиотское мелькание слов», когда «мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы». Так писал в те годы Блок. Так переживала те годы все прогрессивная интеллигенция. И только ли интеллигенция? Даже очень, весьма далекие от интеллигентских настроений вдумчивые люди понимали хорошо обреченность Петербургской культуры.

Умный и пронзительный В. Б. Розанов писал: «Все "казенное" только формально существует. Не то беда, что Россия в "фасадах": а что фасады-то эти — пустые. И Россия — ряд пустот. "Пусто" правительство — от мысли, от убеждения. Но не утешайтесь — пусты и университеты. Пусто общество. Пустынно, воздушно. Как старый дуб: корка, сучья — но внутри — пустоты и пустоты»... А интеллигентская «сострадательность» — это не христианская любовь к ближнему, а умозрительная, отвлеченно-гуманистическая любовь «ко всему человечеству» (то-есть ни к кому отдельно), «любовь к дальнему», вернее, — отсутствие подлинной любви, а эмотивно-поверхност-

ная сентиментальность. «Европейская цивилизация погибнет от сострадательностиМеханизм гибели европейской цивилизации будет заключаться в параличе против всякого зла, всякого негодяйства, всякого злодеяния: и в конце концов злодеи разорвут мир. Заметьте, что уже теперь теснится, осмеивается, пренебрежительно оскорбляется все доброе, простое, спокойное, попросту добродетельное. Он зарезал 80-летнюю бабу и ее 8-летнюю внучку. Все молчат. "Не интересно". Вдруг резчика "мещанин в чуйке" ("Преступление и наказание") полоснул по морде. Все вскакивают: "Он оскорбил **лицо человеческое**", он "совершил некультурный акт". Так что собственно (погибнет) не от сострадательности, а от лжесострадательности... В каком-то изломе этого... Цивилизации гибнут от извращения основных добродетелей, стержневых, "на роду написанных", на которых "все тесто возшло"... .."Гуманность" (общества и литературы) и есть ледяная любовь...» (В. Розанов. «Опавшие листья»).

Опять — пересмотр «дела Петрова» и Петербурга: техницизм Петра, сострадательность — без Бога и бессмертия, а потому «ледяная любовь» — «любовь ко всему человечеству» — гуманистической и социалистической интеллигенции...

Великий циник Ленин, одной рукой насаждая «для массового употребления» веру в то, что на смену прогнившему царизму, капитализму, царству эксплуатации, угнетения, рабства — придет царство свободы, равенства, творческого труда (марксов «прыжок из царства необходимости в царство свободы»); что новым Духом Святым-Параклетом-Утешителем явится пролетариат, которому надлежит закончить историю царствием Божиим (без Бога) на земле, — другой рукой откровенно писал для немногих (ибо скука ленинских писаний и многословие его высказываний — лучшая гарантия, что их никто никогда не прочтет из «масс») совсем, совсем другое... Он указывал, что современное индустриальное общество — та же фабрика: какая там может быть полная свобода для рабочих! Все централизовано, все подчинено ритму машинной работы, ее дисциплине. Так и пролетариат, придя к власти, должен быть организован в соответствии с принципом технической целесообразности. Разве все пролетарии сознательны? Одинаково политически развиты? Нет, конечно. Но передовой отряд пролетариата — партия. Она и до, и после победы пролетариата представляет почти весь или даже весь пролетариат: «Мы — партия класса, — писал Ленин в 1904 году, — и потому почти весь класс (а в военные времена, в эпоху гражданской войны, и совершенно весь класс) должен действовать под руководством нашей партии, должен примыкать к нашей партии как можно плотнее, но было бы маниловщиной и "хвостизмом" думать, что когда-либо почти весь класс или весь класс в состоянии, при капитализме, подняться до сознательности и активности своего передового отряда своей социал-демократической партии». (Соч., изд. 4, т. 7, стр. 240).

6. Петербург-Петроград революционного предбурья.

ЛЕНИН отказывает классу-могильщику всех эксплуататорских режимов, классу, которому следует возглавить «прыжок человечества из царства необходимости в царство свободы», будущему классу-гегемону даже в праве создания своими силами своей собственной идеологии: пролетарскую, социалистическую идеологию могла принести пролетариату только интеллигенция: «...социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. д. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. ...И в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции» (Соч., изд. 4, т. 5, стр. 347-348).

Творческая свобода, свобода мысли, свобода творчества? Помилуйте, господа! — «Литература должна стать партийной. В противовес буржуазным нравам..., в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, "барскому анархизму" и погоне за наживой, — социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип **партийной литературы**, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме. В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать **частью** общепролетарского дела, "колесиком и винтиком" одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы» (Соч., изд. 4, т. 10, стр. 27). А так как авангардом пролетариата является партия пролетариата — будущая коммунистическая, а так как партия не терпит ни малейших разногласий ни в чем решительно и строится иерархически, — то Ленин уже в 1906 г. проповедует полностью — под именем «демократического централизма» тоталитарный этатизм.

Невольно приходится злоупотреблять цитатами, и цитатами часто длинными: ведь излагаются не мысли автора, Бориса Филиппова, а литературные отклики на проблемы Петербургской России, а лите-

ратурные высказывания, предваряющие появление своеобразнейшего явления наших дней — «Ленинградского Петербурга». А пока, в годы предбурья, между двумя революциями, кипят литературные страсти, появляются и мыслители, прошедшие через горнила марксистского социализма — и разочаровавшиеся в нем и в революции. И в философии нужно теперь не уродливое мельтешение слов, а, по словам бывшего марксиста С. Н. Булгакова: «Загадку жизни разрешает не тот, кто с высоты "отрешенного" идеализма холодно озирает нашу жизнь, где высокое перемешано с низким и добро со злом, и не тот, кто в этой борьбе забывает о материальных началах, во имя которых эта борьба ведется и без которых жизнь превратилась бы в бессмысленную игру стихий и страстей, а тот, кто в мысли и в жизни осуществляет начала действительного идеализма, кто, по слову Вл. Соловьева, "Цепь золотую сомкнет, и небо с землей сочтает"» («От марксизма к идеализму», 1903, стр. 347). В социалистические прекраснотушные обещания многие перестают верить. Умнейший мужик Николай Ключев противопоставлял обещаниям марксистов-социалистов свой (утопический тоже) мужицкий рай:

Вы обещали нам сады
В краю улыбчиво-далеком,
Где снедь — волшебные плоды,
Живым питающие соком.
Вещали вы: «Далеких зла
Мы вас от горестей укроем.
И прокаженные тела
В ручьях целительных омоем».
На зов пришли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат,
С лица — вампиры, по наречью —
В глухом ущелье водопад.
За ними следом Страх тлетворный
С дырявой Бедностью пошли. —
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли.
За пришлецами напоследок
Идем неведомые Мы, —
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.
Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы — валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

Но, конечно, и Ключев не думает о всем крестьянстве, как о панацее от всех социальных, культурных и духовных бед России и человечества: старовер и раскольник, Ключев видит спасенье в возвращении к истокам национальной культуры и староверью — в крепком и умном староверческом и раскольниковом крестьянстве. А в деревне

вообще видит Клюев совсем другое. В статье «Стихия и культура» Блок приводит ряд мест из письма к нему Клюева, в которых говорится о двух стихиях, поднимающихся из поддонных глубин народа русского: о раскольниках и сектантах, с одной стороны, и разбойной, преступной вольнице, с другой. Характеризуются они записанными Клюевым песнями: сектанты поют:

Ты любовь, ты любовь,
Ты любовь святая,
От начала ты гонима,
Кровью полита.

Песни вольницы иные:

У нас ножики литые,
Гири кованные,
Мы ребята холостые,
Практикованные...
Пусть нас жарят и калят,
Размазуриков-ребят —
Мы начальству не уважим,
Лучше сядем в каземат...

«В дни приближения грозы, — комментирует Блок, — сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поет про "литые ножики", и те, кто поет про "святую любовь", — не продадут друг друга, потому что — стихия с ними, они — дети одной грозы; потому что — земля одна, "земля Божья", "земля — достояние всего народа". Распалилась месть Культуры, которая вздыбилась "стальной щетиною" штыков и машин. Это — только знак того, что распалилась и другая месть — месть стихийная и земная. Между двух костров распалившейся мести, между двух станом мы и живем. Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под "очерепевшей лавы"? Такой ли, как тот, который опустошил Калабрию, или это — очистительный огонь? Так или иначе — мы переживаем страшный кризис».

Да, время между двумя революциями — может быть, самое свободное время, время наибольшей творческой свободы в России. Да, в эти годы цветет русское свободное и разномыслие, начинается ренессанс философской и религиозно-философской мысли, цветет последним тончайшим, изощреннейшим цветом русский театр, русская поэзия — Петербургская эра становится столь передовой, что рискует быть последней, по остроумному замечанию Вл. Соловьева. Огромными шагами идет и развитие русской промышленности, русского народного хозяйства, народного образования. Видит это и Блок, недаром посвятивший «Новой Америке» свою оду... Увидел это хорошо и младший ровесник Октября, Александр Солженицын в первом узле «Августа Четырнадцатого» писавший о разговоре первого года войны, разговоре типичном:

«— А разрешите узнать, какая, например, из Гегеля ваша любимая мысль? Ну, просто. какая первая вспоминается? — Пожалуй, развитие через СКАЧОК! — в скачке было что-то затягивающее... — Но если вы гегельянец, вы ж должны утверждать государство. ...А государство — оно не любит резкого разрыва с прошлым. Оно именно постепенность любит. Перерыв, скачок — это для него разрушительно»... И Солженицын рисует и новых героев «Новой Америки» — бывшего революционера-инженера-изобретателя, ставшего противником революций и строителем русского богатства, русской промышленности, и инженера — русского еврея, всю свою творческую жизнь отдающего развитию мельничного строительства, развитию сельского хозяйства России...

Но затяжная, томительно-мучительная война оборвала развитие и рост «Новой Америки» — и высвободила и подспудные силы стихийного русского бунта — «бессмысленного и беспощадного», по словам Пушкина, и якобинские силы революционных кружков, иногда — идеалистических, иногда — по-ленински демагогических и тоталитарных. «Революция сложена из двух пластинок: нижняя и настоящая *archeus agens* ее — горечь, злоба, нужда, зависть, отчаяние. Это — чернота, демократия. Верхняя пластинка — золотая: это — сибариты, обеспеченные и не делающие; гуляющие; не слушающие. Но чем-нибудь, "на прогулках" были уязвлены, или — просто слишком добры, мягки, уступчивы, конфетны. Притом, в своем кругу они — только "равные", и кой-кого даже непременно пониже. Переходя же в демократию, они тотчас становятся *primi inter pares*. ...Итак, две пластинки: движущая — это черная рать внизу, "нам хочется", и — "мы не сопротивляемся", пассивная, сверху..." (В. Розанов).

Революция, провал в «топи блат» Петербургской империи и культуры были предreshены. Осип Мандельштам писал в 1916 году:

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем...

7. Ленинградский Петербург

И ВОТ пришла та долго- и страшно жданная Царевна-Ненаглядная-Краса, которую так нетерпеливо призывали, которую зараннее благославляли: Революция. Но интеллигенция не оказалась государственно мыслящей и зрелой. Не обнаружилось и крепко стоящих на ногах политических деятелей. Сказалась трагическая разорванность русского культурного слоя — и народных масс, сказалась и прекраснотдушная, глубоко-этическая политическая непрактичность интеллигенции. Революция рассматривалась больше как праздник обновления, чем как прозаическое, скучное, мелочно-въедчивое **делание**. Ремизов, ведший в те дни «временник», записывает: «с самого первого дня в Таврическом дворце — известно, там в бывшей Государственной Думе все и происходило, "решалась судьба России"... ..К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. Один полк какой-то великий князь сам привел, и об этом много было разговору. С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты, медали, — чтобы передать Родзянке. Появились из деревни ходоки: посмотреть нового царя — Родзянку. Родзянко был у всех на устах. В то же время в том же Таврическом дворце, где сидел этот самый Родзянко, станов расположились другие люди во главе с Чхеидзе — Совет рабочих и солдатских депутатов. Тут-то, — так говорилось в газетах, — Керенский вскочил на стул и стал говорить — Я заметил два слова — две кнопки, скреплявшие всякую речь, декларацию и **приказ той поры**: — смогу — всемерно. — И Родзянко пропал, точно его и не бывало. К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали — чтобы передать Керенскому. Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя — Керенского. Керенский был у всех на устах. И третье слово, как третья кнопка, скрепило речь: — нож в спину революции. ...Демонстрации с пением и музыкой ежедневно. Митинги — с пряниками — ежедневно и повсеместно. Все, что только можно было словами выговорить и о чем могли лишь мечтать, все сулилось и обещалось наверняка: земля, повышение платы, уменьшение работы, полное во всем довольство, благополучие, рай...»

Осип Мандельштам характеризует те немногие месяцы русской свободы, русского праздника ядовито-метко: «Стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство. Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, что граждане так и останутся навсегда, как коты с бантами. Но уже волновались айсоры-чистильщики сапог, как враны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы».

Крестьянин-старшвер Николай Ключев принял революцию, как синтез западной всемирной свободы и русского староверья. Более того, в его стихах тех лет слышатся и ноты оригенизма: все спасутся, наступает Царство Христово на земле, даже демоны будут прощены и вольются в общий хор, вопиющий Осанну:

То колокол наш — непомерный язык,
Из рек бичеву свил Архангелов лик.
На каменный зык отзовутся миры,
И демоны выйдут из адской норы,
В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы...

Но «лимонадное время» Керенского длилось недолго:

А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век...

(Ахматова)

Октябрь обещал «землю, волю, лучшую долю», он был еще более щедр на посулы, на обещания, чем Февраль. И хотя за Октябрем пошло далеко не так много, но и не так мало русского народа, а пошедшие были организованы новыми шигалевцами много крепче, много лучше, чем это могла сделать русская идеалистическая интеллигенция. И интеллигенция, готовившая и воспевавшая народную революцию, отшатнулась от ее завершения в Октябре.

«Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки над Россией, над которой пролетел революционный циклон. Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: со всем сладострастием ехидста подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг — сухие полешки, щепочки, — а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), бегать кругом и кричать: "Ах, ах, сгорим!"» — горько укорял в те дни вначале принявший революцию, как очистительную стихию, Александр Блок: «Надменное политиканство — великий грех. Чем дальше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом... Бороться с ужасами может только дух... Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию!»

И Блок видел в разбойной вольнице «Двенадцати» эту темную, слепую, напичканную — в лучшем случае — ходячими фразками из революционных тощих брошюр, но стихию, но чуть ли не космическую силу, которой суждено обновить мир:

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер
На всем Божьем свете...

Да, Блок увидел мировое значение Октября, когда во всем мире считали, что эта революция — провинциальное и быстро проходящее чисто русское явление. Но через лозунги Учредительного Со-

брани, обывательское негодование, большевистские и не-большевистские плакаты, под витийствующие завывания писательской братии; через оспу ругани, торговлю телом и душой; через заснеженные улицы голодного и холодного Петербурга-Петрограда; сквозь из нутра вырывающиеся крики «хлеба!» посутилившихся работяг и бродяг, институток и проституток, писателей и спасателей — идут в неведомый им самим «настоящий Двадцатый Век» Двенадцать. Да, они почти или совсем уголовники: «на спину б надо бубновый туз», но ведь и Октябрь — «Свобода, свобода, эх, эх, без креста!» — и она не подхвачена вчерашними вождями, ныне дезертирами революции — интеллигентами. И ее подхватили они, большевики, именники Октября. «Власть валялась в грязи на улице, — и никто ее не подобрал... Мы выбрали ее...» — скажет впоследствии Ленин. И вот на улицу выперла орда, пока что не только не обуздываемая, а даже науськиваемая большевиками:

Мы на горе всем буржуйам
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови...

Временно, очень, очень недолго, поддерживают Октябрь и крестьяне, особенно — староверы. Николай Клюев писал тогда:

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских Ответах.
Мужицкая ноне земля...

И, совсем с других позиций, плакал над Россией и не мог до конца принять сердцем случившегося Розанов в «Апокалипсисе нашего времени»: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже "Новое Время" нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая "Великого переселения народов". Там была — эпоха. "два-три века". Здесь — три дня, кажется, даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска. Чтò же осталось-то? Станным образом — буквально ничего». А виновна, по Розанову, во многом русская интеллигенция и ее, интеллигенции, литература: «В большом Царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленном, покорном. — что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить — чтобы этот народ хотя научили гвоздь выковать, серп исполнить, косу для косьбы сделать ("вывозим косы из Австрии", — география). Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только, "как они любили" и "о чем разговаривали". И все "разговаривали" и только "разговаривали"..."»

8. Ленинградский Петербург

ЧЕРЕЗ четыре недели после Октября бывший революционер Максимилиан Волошин почти в тех же словах отпевает Россию:

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах; не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволоч на гноища, как падаль...

Принесла ли Октябрьская революция крестьянам землю и волю, лучшую долю? Нет, уже вскоре, через год, а то и меньше, поэт-крестьянин, бедняк из бедняков, Пимен Карпов свидетельствует, что его «Русь обетованная» отдана ему на пропятие:

Сторонитесь, попы долгогривые,
Нипочем теперь мать и отец,
Разгулялось поволье гульливое,
Понакликало свету конец!..
Только голову жаль забубенную...
Не скули ты, гнусавый набат,
Будто Русь искромсали крещеную
Штык зазубренный, вострый булат...

Что Октябрь принес рабочим? Вернувшийся в 1917 году из эмиграции большой русско-польский революционер Махайский-Вольский писал в июне 1918 года в его журнале «Рабочая Революция», закрытом ленинцами чуть ли не на первом номере: «...может быть, все-таки, благодаря большевицкой диктатуре и "рабочему контролю" на фабриках, стало улучшаться материальное положение рабочих масс? Ничуть! Заработная плата совсем не поднялась. При бешено растущей дороговизне, оплата труда значительно ниже, чем до октябрьского переворота. ...После февральского буржуазного переворота рабочая плата сильно повысилась и завоеван восьмичасовой рабочий день. После октябрьской пролетарской революции рабочие не получили ничего. Капиталистов... зависть брала при виде хозяйской руки коммунистов, которые ловким маневром предохранили себя от рабочих стачек и волнений». И Махайский призывает рабочих восстать против тирании бюрократии — партийной и государственной, производственной и мнимо-профсоюзной, он кричит о рождении нового правящего класса...

И когда интеллигенция идет, сломленная террором, голодом и холодом, на не служение народу уже, а — вольно или невольно — на

услужение правящей партийной олигархии, она не может никак сохранить свою свободу, свою творческую независимость, свою душу:

Ноют жалобно гудки.
Ветер свищет вдоль реки.
Сумрак тает. Рассветает.
Пар встает от желтых льдин.
Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин:
— Что сегодня, гражданин,
На обед?
— Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
— Я сегодня, гражданин,
Плохо спал:
Душу я на керосин
Обменял. —
От залива налетает резвый шквал,
Торопливо наметает снежный вал —
Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило у теней.

(Зоргенфрей)

И теперь уже нет и разговоров о свободе, даже при социализме, когда он будет построен: «...о значении именно единоличной диктаторской власти с точки зрения специфических задач данного момента, надо сказать, что всякая крупная машинная индустрия — т. е. именно материальный, производственный источник и фундамент социализма — требует безусловного и строжайшего **единства воли**, направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей. И технически, и экономически, и исторически необходимость эта очевидна, всеми думавшими о социализме всегда признавалась как его условие. Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? — Подчинением воли тысяч воле одного. ...Так или иначе, **безусловное подчинение** единой воле для успеха процессов работы, организованной по типу крупной машинной индустрии, безусловно необходимо...» Так писал Ленин в 1918 году. А так как общество советское строилось и строится на производственном, трудовом принципе, то «никакого принципиального противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц **нет**» (Соч., изд. 4, т. 27, стр. 238-239, 238).

Итак, диктатура. Итак — никакой свободы, тем более — творческой: ведь все должно быть подчинено одной цели: построению коммунизма по ленинско-марксову образцу. «А мы не себе желали спасения — всему человечеству. И вместо сентиментальных вздохов, личного усовершенствования и любительских спектаклей в пользу

голодающих мы взялись за исправление вселенной по самому лучшему образцу, какой только имелся, по образцу сияющей и близящейся к нам цели. Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали. Во имя цели приходилось жертвовать всем, что было у нас в запасе, и прибегать к тем же средствам, какими пользовались наши враги — прославлять великодержавную Русь, писать ложь в "Правде", сажать царя на опустевший престол, вводить погоны и пытки... Пороку казалось, что для полного торжества коммунизма не хватает лишь последней жертвы — отречься от коммунизма» (Абрам Терц).

И создается новый строй, и создается новый быт, создается и новый Город — уже Ленинград, в котором

...по засадам.

ополоумев от бытия,
огромный дом, виляя задом,
летит в пространство бытия!
А там — молчанья грозный сон,
нагие полчища заводов,
и над станovima народов —
труда и творчества закон.

(Заболоцкий)

Чиновные деревья под замком и в решетках — обступают и теснят свободу; наваливаются на обезличенных и ограбленных материально и духовно — совершенно однозначных — «Ивановых» трамваи и заводы, учреждения и партийные комитеты, «Народные Дома» — «курятники радости» — и идут Ивановы послушливо на служенье механизированному тотальному обществу-государству. А куда еще и идти-то?! —

Неужто, некуда идти?!
О мир, свинцовый идол мой,
хлещи широкими волнами...
...Он спит сегодня — грозный мир,
в домах спокойствие и мир.
Ужели там найти мне место,
где ждет меня моя невеста,
где стулья выстроились в ряд,
где горка, словно Арарат,
повитый кружевцем алмазным,
где стол стоит, и трехэтажный
в железных латах самовар
шумит домашним генералом?
О мир, свернись одним кварталом,
одной разбитой мостовой,

одним проплеванным амбаром,
одной мышиною норой... — —

таков Ленинград и Советский Союз обездуховленных и нивелированных нацело Ивановых, как рисует его Заболоцкий. И беспощадный террор. И нет воздуха, чтобы дышать и жить. И нет творческой, да и никакой свободы. Умирает от безвоздушья Александр Блок, когда-то революцию принявший: «Настоящим и дышать невозможно, можно дышать только ...будущим», — шепчет он: «...Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий... И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем: жизнь потеряла смысл». Гибнет Осип Мандельштам в когда-то излюбленной Невской Столице:

Помоги, Господь, эту ночь прожить:
Я за жизнь боюсь — за Твою рабу —
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

Оплакивает уходящую старую сказку — Россию — Николай Клюев:

Наша собачка у ворот отлаяла,
Замело пургою башмачок Светланы,
А давно ли нянюшка ворожила-баяла
Поваренкой вычерпать поморья-океаны.
А давно ли Россия избою куталась, —
В подголовнике бисеры, шелка багдадские...
...У матерой матери Мамелфы Тимофеевны
Сказка-печень вспорота и сосцы откушены,
Люди безлюдены...

Казалось бы — конец. «Быть Петербургу пусту». Казалось — и конец России, и конец Петербургу. И столица перенесена в Москву. И окно в Европу наглухо законопачено. «Ты еси Петр, и на камени сем созижду Церковь мою», — Петр — есть камень и заштатный град Санкт-Питер-Бург — есть Святой-Камень-Город. Но — определение, должно быть только в одном слове: Санкт-Питер-Бурх определяет три слова — Святой-камень-город, — нет одного определения, — и Санкт-Питербург посему есть фикция...» (Борис Пильняк). Опять противопоставление Города Петра и Петербургской культуры «рыхлой бабе» России. Бабе, изнасилованной Петром: и для петербуржанки Марии Шкапской Россия —

Лежит роженицей на день девятый
Российская осенняя земля...

А в Петербурге «Россия ждет к себе Петра»:

Он властно женщины покровы
Снимает мужнею рукой...
...И каждой ночью зачинает
Она — и носит до утра,
А поутру родит, стеная,
Детей с походкою Петра.

Да, рождаются уже «дети с походкою Петра», рождаются и сторонники исконной русской культуры. Рождаются и легенды в новом Ленинградском Петербурге. Пока это — лишь слабые ростки какой-то исторической нови. Но они, эти ростки, уже понемногу расшатывают каменный покров улиц Ленинграда, понемногу пробиваются сквозь «желтый пар петербургской зимы»...

9) Легенды Ленинградского Петербурга

1934-1937 ГОДЫ... После убийства Кирова — одной из наиболее грубо подделанных инсценировок Сталина — массовая расправа с ленинградцами и, особенно, ленинградскими петербуржцами — остатками недобитой и недовымершей старой интеллигенции.

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки.
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

(Ахматова)

Тяжкий крестный путь сотен тысяч — а, может, и больше? — петербуржан-ленинградцев в лагеря и в холодную и голодную ссылку, а то и на смерть. Но, может статься, еще более тяжким был жребий оставшихся на горькой советской «воле» жен и матерей, отцов и сыновей...

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить...

(Ахматова)

«Лишь в 1936-39 гг. было арестовано более 1,2 миллиона членов ВКП(б) — половина всей партии. Только 50 тысяч вышло на свободу — остальные были замучены на допросах, расстреляны (600 тысяч) или погибли в лагерях», — так свидетельствует в своем меморандуме «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» акад. А. Д. Сахаров, сам член партии. Ну, а сколько погибло беспартийных — их же имена, Ты, Господи, веши?! По некоторым данным, к концу 1938 года в лагерях и тюрьмах СССР и в ссылке было не менее пятнадцати миллионов человек...

А над этой кровавой мясорубкой, обрызганный кровью от подошвы цоколя до брезентовых усов, высился в каждом городе и в каждом местечке бессмертный гениалиссимус, Человекобог, Владыка-Хозяин:

Мы все ходили под богом,
У бога под самым боком...
Стоя на мавзолее,
Был он сильней и злее,
Мудрец Того, Другого,
По имени Иегова,
Которого он низвергнул,
Извел, пережег на уголь,
А после из бездны вынул
И дал Ему стол и угол...

(Слуцкий)

Да, вынули и Бога, и «Святую Русь», и старинные обыки и на-
выки, когда гитлеровские полчища продвинулись к самой Москве и
обложили Ленинград. Когда больше половины многомиллионного
города погибло от голода и холода. Когда миллионы солдат и офи-
церов Советской армии умирали от голода и издевательств в не-
мецком плену...

И окончательно испарилась, как роса или изморозь на солнопеке,
религиозная вера в спасительную силу социализма-коммунизма, в
единственно-истинную и единственно-правильную «генеральную ли-
нию партии», — —

Сегодня я ничему не верю —
Глазам — не верю.
Ушам — не верю.
Пощупаю — тогда, пожалуй, поверю — все без обмана. ...
...Все пропаганда. Весь мир — пропаганда. ...

«На подступах к 37 году Мандельштам написал стихотворение:
"Неначатой стены мерещатся зубцы, а с пенных лестниц падают сол-
даты султанов мнительных, разбрызганы, разъяты, и яд разносят
хладные скопцы" ... "Неначатая стена" свидетельствует, что он со-
знавал эфемерность всяких целей. В самом начале тридцатых годов
он как-то сказал: "Почему мы должны умиляться пятилеткам? Ес-
ли б кто-нибудь из знакомых вдруг взбесился и стал отказывать
себе во всем, украшая квартиру, скупая пишущие машинки и уни-
тазы, мы бы на него наплевали" ...Целый народ не живет, а только
выполняет планы. В этом есть что-то подозрительное... Чем лучше
выполнялись планы, тем хуже жилось: зубцы уже виднелись, а сте-
ны-то не было. Слово "солдаты" в этих стихах показывает, что
именно строевая, псевдо-военная аналогия навязла в те годы в зу-
бах..." (Над. Мандельштам. Вторая Книга).

И все-таки... И все-таки, в этом пожарище чисток, застенков, ла-
герей, блокады, войны — жил Ленинградский Петербург. Из внеш-
ней оболочки сталинизированного «Города Ленина» выпирал Петер-
бург — не Питерсбурх Петра, а новый, русский Петербург. И осо-
бенно ярко сказалось это, как и следовало ожидать, как это всегда
бывает, — в легендах. Ведь легенда — самый лучший, самый объ-

ективный свидетель и источник истории: легенда наиболее свободна от предвзятости, субъективности, партийности, индивидуального произвола.

...Вторая половина двадцатых годов. Уже начинают усиленно закрываться церкви, превращаться в склады, разрушаться. А в бывшем Мариинском Театре, при переполненном зале (для того, чтобы достать билет нужно было ночь простоять в очереди), идет гениальнейшая русская опера — мистерия Римского-Корсакова «Сказание о Невидимом Граде Китеже». И по рукам ходят в списке стихи поэта, давно уже прославившегося, как стукач, как осведомитель органов сыска и террора о своих собратях... И все-таки пишет он:

...Облака, как белые обители, —
Китеж, Валаам и Соловки...
Говорят с медведями святители,
Молятся на камнях у реки. ...
...Ветер тронул черную смородину...
Поезд над рекой прогрохотал...
Бог поможет отыскать мне родину,
Ту, которую я потерял!
Не мужицкая, не государева —
Для меня с неповторимых пор
Вся Россия — это Божье зарево,
Золотой раскольничий костер!

А на развилке Николаевского моста, давно уже переименованного в «Мост лейтенанта Шмидта», стояла часовня Николы Угодника — с чтимым чудотворным образом Святителя. Давно уже выворотили и изничтожили образ, испоганили часовню и преобразили ее в склад метел и лопат московского уборщика. И вот как-то по Светлый Праздник заходит старичок-уборщик в часовню — метлу на место поставить, — а в часовне убрано-украшено все лапками ельника, на месте, где был Николин образ — светлый образ Богородицы-Утоли Моя Печали, а перед образом на коленях ветхий-ветхий батюшка, в рясе холщевой, в холщевой же скуфеечке. И тихо-тихо шепчет: — «Спасибо, Владычица, что сподобила Меня еще разок в часовне Моей Праздник Праздников встретить». И видит сторож — батюшка как-то светится, словно он из лучей весь соткан, и через него все опять-таки просвечивает. «Святителю Отче Николае, — кинулся в ноги ему сторож, — моли Бога за нас, грешных!» Улыбнулся Святитель, благословил старика двуперстно — и исчезло видение — как не бывало. И опять в часовне дряг и мусор, метлы и лопаты, но на полу два крохотных образка — Николы и Божией Матери-«Утоли Моя Печали». Образки бумажные, — но не было их до того. Жена сторожа-уборщика наказывала мужу — чтоб не было беды им — никому не рассказывать о виденном, да разве удержишь язык, когда видел такое? И разошлась легенда по всему городу. Кто усме-

хался, а кто и призадумался. И ведь не только в те годы. Уже в 1957 году опубликована «Легенда» тогда молодого (род. в 1924 г.) поэта Игоря Кобзева:

Разошлась по городу легенда,
Будто где-то здесь, невдалеке,
Девушка с косой и с белой лентой
Утопиться вздумала в реке.
Мол, спозналась с горечью душевной,
А уж с ней не миновать беды.
Только будто вдруг старик-волшебник
Вынес ее чудом из воды...
В жизни много нужно человеку.
Нужен хлеб. Нужна и красота.
И пошел народ на эту реку
Поглядеть на дивные места...
Одним словом, так или иначе,
Дело стало сказкой обростать.
И примчал из области докладчик,
Чтобы этот миф разоблачать.
Он гремел. Срывал аплодисменты.
Выдумку цитатами разнес.
Осмеял нескладную легенду,
А' другой легенды... не привез...
Сам он, видно, не тонул ни разу.
Не спасал он жизни никому,
И, наверно, в детстве тихих сказок
Не шептала бабушка ему...

Нет, не хочет наред разоблаченья легенды — ведь другую ему не привез пропагандист, а раз «весь мир — пропаганда», то как верить ей, пропаганде этой?!

В 1927 году — совершенно непонятным образом — в январском номере ленинградского журнала «Звезда» была опубликована поэма Н. Клюева «Деревня». Номер был моментально расхвачен покупателями, прежде чем опомнилась цензура. Лишь немногие номера удалось изъять и уничтожить. В поэме же совершенно откровенно проклинались строй террора и насилия, насилия не только над плотью, но и над духом Руси:

Мы тонули в крови до пуза,
В огонь бросали детей, —
Отчего же небесный кузов
На лучи и зори скупей? ...
...Ты Рассея, Рассея матка,
На мирской смилосердись гам:
С жемчугами иль с кровью калка
Окаянным поведай нам!

Да, «мы расстались с саровским звоном — утолением плача и ран»,
мы оголили мощи, мы порушили становой хребет духовной Руси.
Но не вечно новое татарское иго советчины:

Будет, будет русское дело, —
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметет мужик бороною!

И воскреснет Русь — радостная, солнцезарная, свободная...

10. Легенды Ленинградского Петербурга

«..УЖЕ через два-три года, наутро, устремляюсь в Михайловский парк. Там уже десятки любопытствующих, а потом и сотни окружают обломок столетнего двухохватного дуба, сломленного недавней бурей. Около задумчивого павильона Росси стоял этот дуб, а теперь у его обломка суетится и хлопочет безусый деревенский парнишка. Его орудия незамысловаты: лестница, плотницкий грубый топор, долото, молоток и кривой сапожный нож. Но на глазах у толпы из обрабатываемого парнем ствола, кряжистого и стойко вгрызшегося в землю мощными и цепкими корнями, вырисовываются какие-то идолообразные фигуры и лики: вот злая ведьма надела на мужика-богатыря, вырастающего прямо из земли; вот волхвующий бородатый кудесник и обесмысленный лик стандартного рабочего с молотом в руке, занесенным на всю русскую сказку-историю, на все русское прошлое; вот еще черноземная сила — русский служивый, мужик-солдат.

Трудно было оторваться от зачаровывавшего зрелища пробуждения огромной новой жизни из мертвого древесного ствола. Видимо, художник — вековой, наследственный лесовик. Он не насиловал дерева, а только раскрывал, пользуясь всяким сучком, всяким наростом или искривлением, таящиеся "под грубою корою вещества" затаенные формы. Он вышелушивал свои "эпохи русской истории" — как назвал он свою композицию — из обломка дуба. Медузообразные помещики и помещицы, мужики-ведуны с длинными — до земли — бородами и необъятными могучими плечами и ручищами. Сказочные дива и нежить — все украсило и расцветило творимую сказку — историю родины. Композиция была закончена через несколько дней, а в одно из воскресений рядом расположился художник, расставив немало коряг, корневищ, стволов и поленьев, чуть тронутых ножом, топором или стамеской: осьминоги, Змеи-Горынычи, бояра да рынды, и опять мужики-лесовики, кряжистые и корневые:

Умереть бы тебе, как Михайле Тверскому,
Опочить по-мужицки, до рук борода...

А на дубе — "эпохах русской истории" — надпись: "Помогите голодающему художнику" — и кружка. Сам художник прятался в павильоне Росси, тогда еще заплеванном подсолнухами и обезображенном "Маничками-я-вас-люблюями" и сердцами, проткнутыми стрелами — античный мотив среди похабной коросты надписей. На следующий день художника арестовали. Он сгиб, кажется, где-то неподалеку от своего архангельского или вологодского далека, откуда пришел в Ленинград пешком, кое-когда исхитряясь пристроиться на платформах товарных поездов. В пути побирался именем не совсем позабытого Христа, да резал смешные и кудесные ложки на про-

дажу. Этими же ложками промышлял и в Питере, пока не попал на глаза одному из профессоров Академии, тогда еще "Высшего института художественных знаний", кажется. Приняли парня, расщедрились на десятирублевую стипендию ему, а когда расстарался он с выставкой, — выставили и из Академии, и из Питера, и с воли, и из жизни: за антисоветскую вылазку — "помогите голодающему художнику"» («Давнее-недавнее»).

Вторая половина тридцатых годов... Аресты, расстрелы, аресты, тюрьмы, лагерь — —

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы.
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска...

(Ахматова)

Как-то, в 1937 году, к моей матери подошла нищенка, худая, в отрепьях, с лицом высоко-одухотворенных: — «Вижу, что и у вас тоже горе... Помолитесь блаженной Ксении, лучше всего на Смоленском кладбище: поможет по молитве Вашей»... Вскоре матери разрешили свидание со мною: я отбывал тогда свой «детский» (не уважали заключенные людей, осужденных на такие малые сроки) пятилетний срок...

И ходили к блаженной Ксении верующие и неверующие, но страждущие матери и отцы, жены и сестры — помолиться о родных узниках. И ходила блаженная Ксения по трагическим улицам Ленинградского Петербурга лет Ягоды-Ежова-Берии, неканонизированная петербургская святая середины прошлого века, а, может, и Пушкинских времен, посылая утешение, внушая надежду и бодрость, — и многие верили: именно ходила, молясь за страждущих и благославляя их.

Тяжелая вода воспоминаний
о городе с чугунными мостами,
о городе с дворцами и церквями,
где угнездились мыши и товары.
Суровой аркой скованные мысли,
в гранит одеты пристани седые,
и перекрыты праздничным оркестром
победно-кумачевые знамена.
Я выходил с толпой к трибунам щуплым,
я проходил по улицам зеркальным,
тобой дышал, отбрасывая плесень
мгновенных встреч, назойливых воззрений.
Невы свинцовой всенощное бденье
подхватывали взлеты белой ночи, —

и прошлое сливалось с грядущим,
для жизни ничего не оставляя.

Легенда... В легенде народ отсеивает все случайное и наносное, и персонифицирует, воплощает не только живое зерно истины, но и упования своей эпохи. Да, окончательно гиб старый русский интеллигент — с его незыбваемо-прекрасными, но с рождения обреченными и отрешенными чертами: не интеллигент белинско-чернышевско-писаревского ширпотреба, а чеховско-блоковского образа:

Он брел, качаясь, сквозь века
по той же Невской перспективе,
и мутно-рыжая река
звенела льдинами в разливе.
Он брел... Куда? Куда влекла
его судьба? К какой невзгоде?
К какой неведомой природе
он вырвался из-под стекла?
Лабораторный, не живой,
но ветхо-юный, вечно-новый,
он умозрительной ногой
влачит чугунные оковы.
А с ним, как отзвук, словно тень,
его двойник, его товарищ, —
и меркнет нерасцветший день,
ища души среди пожарищ...

Голядкин, Блок, Заболоцкий... Век раздавил вас, вы задохнулись в безвоздушной пустоте Петербурга-Ленинграда. Вас раздавила и война, и блокада. Но сквозь сутемень предрассветного тумана уже проблескивают легенды — первые проблески нового дня. Мы никогда не чудимся, не удивляемся чуду: каждый раз начинающемуся новому дню: привыкли. Мы надеемся, что будет и новый день России и Петербурга. Уже не ленинградского. Ведь если живут легенды — то жизнь еще не окончилась. Ведь если есть еще хотя бы слабый количественно всплеск протеста — жизнь не ушла.

И кончается удручающая аракчеевщина казарменного единообразия мыслей и чувств, идей и вкусов, обычаев и слов. Кончается, во всяком случае у немногих, но лучших, кому принадлежит завтра. «Довольно думать о человеке. Пора подумать о Боге» (Абрам Терц). Довольно думать о коллективе. Пора подумать о человеке. «Ведь человек же — очень сложное существо, почему он должен быть объяснен логикой? или там экономикой? или физиологией?» (Солженицын). Да, легенда животворит. И не такой ли легендой (как реалистический и психологический роман ведь он — совсем не удача!), большой и глубокой, является и «Доктор Живаго»? — «Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть количества, оружием вменен-

ная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая личность стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной». (Пастернак).

Новый Петербург, новая Россия нарождаются. Они — в тюремных психобольницах и застенках КГБ, они — в многообразии взглядов новой молодежи. Они — не в архаическом национализме билибинщины и вышитых полотенец, а в подлинной волхвующей идее подлинного национализма — национализма, как слуги вселенскости: легенда Невидимого Божьего Града (вселенскости, а не интернационализма) зовет на борьбу, на творчество жизни, на неослабевающую войну с захлестывающей мир смертью:

Памятью убитых, памятью всех,
если не забытых, так все ж без вех,
лежащих беззлобно, пусты уста,
без песенки надгробной, без креста...
...Ежели ты выжил — садись на коня,
Что-то было выше, выше меня,
я-то проезжаю вперед к огню,
я-то продолжаю свою войну.

(Иосиф Бродский)

Необъятна поэзия и проза, быль и легенда Петербурга-Ленинграда. Вечен и могуч Медный Всадник государства. Но уже в Пушкинские годы грозил полураздавленный, но не побежденный им человек, личность, не статистическая точка: «Ужо тебе!» И эти лоскутья слов, опилки литературных образов — только слабое начало литературно-исторического комментария к провидческой поэме Пушкина. Не больше.

Лесному Зверю

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Далекое в недавнем

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

— Тебе, Сергей, повезло, — говорил мне Роберт Савелко, управделами и ответственный секретарь партийного коллектива Четвертого строительного участка: — Наш участок — мировой. Главный инженер — не только инженер, а еще и композитор; я, — ты сам знаешь, — кончаю консерваторию у Павла Захаровича; главбух — литератор, в «Вечорке» пописывает... Культура, брат! Могли бы загнать после института куда-нибудь на Тихвинские бокситы — там бы ты узнал — почем фунт лиха...

Аппарат, действительно, был не совсем обычным. Начальником участка был старый партиец Медведев, из трамвайных кондукторов, подагрик и циник, ворчун и умница. Жил он душа в душу с главным инженером Иосифом Владимировичем, автором музыки к одной из первых советских кантат и профессором Вечернего строительного института. Иосиф Владимирович состоял даже членом общества старых политкаторжан и, затаив смешинку в широко расставленных глазах, любил рассказывать — как это он попал в члены этого общества:

— Учился я, как вы знаете, Сережа, и в Институте гражданских инженеров и в консервато-

рии. Потому и учился лет эдак двенадцать, никак не меньше. Ведь и окончил-то я институт уже в восемнадцатом, после войны, на которую угодил только в конце шестнадцатого: до того пребывал в белобилетниках. Ну, студенческие годы были у меня развеселые. Я пописывал романсики в разухабисто-русском и надрывно-цыганском штиле — всяческие там «Эх, да эх, распошел — разгулять тоску-кручинушку!» Романсы хорошо шли, да и у отца — был он преуспевающим присяжным поверенным — деньжата не переводились. Вот как-то, в публичном доме на Песках, уже под утро, изрядно нагрузившись, вздумали мы — целая кампашка бездельников — спустить на связанных скатертях и простынях голую девку через окно прямо на тротуар — это со второго-то этажа. Сказано-сделано. Бабенка визжит, боится. Ну, ничего, не обронули. Обошлось без увечья. Но полиция всех нас за безобразничанье зацепила — и на шесть дней в арестный дом, в Казаки. И вот, в позапрошлом году, и избрали меня в члены общества старых политкаторжан, как пострадавшего за политическую агитацию при царизме . . . Все-таки, и льготы есть: в трамвай с передней площадки можно влезать. А это немаловажно, когда с работы едешь: попробуй-ка, всадишься тогда обычным порядком!

— Да, Серега, он у нас ловкач и хитрюга, наш Осип Владимирович, — рассказывал как-то в состоянии добродушного подпития Роберт Савелко: — Знаешь, он и кантату свою сочинял не один. В кантате ведь воспевается энтузиазм самомотивизовавшихся партийцев и комсомольцев и красноармейцев, разгромивших восставшую матросскую шпану в Кронштадте. Так вот: контрреволюционные моменты кантаты взял на себя Осип, а советски-героические предоставил писать старому ду-

раку Николаю Латковскому: это перестраховался: на всякий случай. Чтобы не осудили его, Осипа, буржуйские родичи и знакомые за «приспособленчество»... А впрочем, черт с ним. Может он и прав. — Савелко хлопнул еще стакан водки и, хитро сощурив глаз, наклонился к моему уху: — Знаешь, — задышал он в меня перегаром, — если бы, скажем, да настоящее тайное голосование, — то, гляди, три четверти из нас, партийцев, против коммунизма бы голосовали... — И, испугавшись сам своей шопотной откровенности, — Роберт добавил со смешком: — Такой, знаешь, анекдот в Ленинграде ходит...

Но такие признания делались, конечно, с глазу на глаз, да и то за бутылкой, а на людях лукавый белорус-католик был твердокаменным блюстителем партийного авторитета. Но, в общем, парнем был своим.

Я работал разъездным инженером-инспектором участка, и посылали меня тогда на самые что ни на есть захудалые стройки: институт я окончил неплохо, но практически был совсем желторотым.

Помню первое — ошарашившее меня — соприкосновение со строительством, как оно есть. В начале тридцатых годов многие артели были еще совсем старозаветными, с испокон века возглавляющими их родовладыками-бригадирами, стариками, на зубок знающими старое урочное положение «грахва Рошефора» и проевшими зубы на торговле с десятниками. Подошел я к такому бородачу, — как все костромичи, конечно, плотницкому бригадиру. Объясняю ему что-то по части опалубки перекрытия. Ничего не понимает мужик — глядит на меня оловянными глазами, и десятник Кандыбин переступает с ноги на ногу, потеет, а сам ни гу-гу. Я начинаю волноваться, злиться на себя и на них: ужель по неопытности сам влип? Нет, ка-

жется, не влип. И так разозлился, что загнул длинный матросский матюг. Лица бригадира и десятника прояснели:

— Давно бы объяснили по-русскому, — говорят, — а то, трам-тарарам, как-то больно по-интеллигентному выходило, аж понять никакой не было возможности . . .

Эта необходимость пустить иной раз матерком очень смущала мою старую — еще по институту — приятельницу, — уютную и скромную Наташу — Наталью Михайловну Секирину, прораба строительства лабораторий Института металловедения. Ей приходилось все-таки «для прояснения» пускать зазвонистые заклинания, но ничего-то у нее, бедняги, не получалось:

— Нет уж, Наталья Михайловна, ты не старайся: все одно у тебя не по-нашински выходит, — говаривали ей десятники и бригадиры.

На одну из ее строек я и пришел в тот раз. Ей тоже не давали ответственных заданий: так, какие-нибудь надстройки да капитальный ремонт. Вот и здесь: нужно было надстроить этаж и переоборудовать старый могучий особняк екатерининских, а то и елизаветинских времен, запущенный и обветшавший: в нем должна была разместиться одна из лабораторий.

Особняк — с сорванной крышей и проломленным чердачным перекрытием — глядел явно неодобрительно. В лестничной клетке два бородача лениво ковыряли неестественно толстую стену.

— Долбани еще, Петрович, здесь, — тут, кабысь, шов, — посоветовал один из них другому, с сильной проседью в рыжей клокастой бороде.

— Вот дурак! Ведь тут кладено по-старинке: думаю, и с творогом, как древние церкви клали:

тут надо рвать по кирпичу, а раствор и взрывом не возьмешь: железо...

Звук при ударах лома был гулким и странным:

— Как бы тут не камора — в стене-то. А вдруг, робята, на клад набредем? — И теперь уже оба с увлечением заколотили ломами. В одном месте стена подалась, и вскоре большой ее осколок бородачи вывернули на площадку и оббитые ступени лестницы.

— Так и есть: тёмно. Камора. А ну, тащи зажигалку... — прохрипел вспотевший и запудренный кирпичной и известковой пылью Петрович.

Я осветил пролом небольшим электрическим фонариком. Что-то необычное заставило всех, прильнувших к пролому, отпрянуть назад: мы увидели ножки кухонного стола и двух екатерининских кресел и какие-то тяжелые цепи, лежащие на полу небольшой узкой камеры.

— Ломай дальше! — и ломы заходили еще ожесточенней.

В узкой щели-камере, за грубым столом, на котором стояли тарелки и лежал опрокинутый графин, в креслах по обе стороны стола — два скелета с сохранившейся кое-где пергаментной кожей, в полуистлевшей одежде конца восемнадцатого века. На ногах — браслеты коротких цепей, наглухо заделанных другим своим концом в стены. На руках цепи были много длиннее. Они давно свалились со скелетов и валялись на полу камеры.

— Вот тебе и клад... Что ж это, братцы? — Лестничная площадка была теперь затолкана рабочими. Все с жадным любопытством сгрудились у пролома.

— Наталья Михайловна, — оттеснил я наконец навалившуюся на нас и тяжело дышащую толпу, — пойдите, пожалуйста, поскорее, вызовите мили-

цию и позвоните в Общество Старого Петербурга: тут интереснейшая историческая находка . . .

Наташа, бледная, но с лихорадочно горящими, хотя и испуганными глазами, еле оторвалась от пролома.

— Д-да, занятная история, — протянул Иосиф Владимирович. — Савелко, дорогой, идите, послушайте, что рассказывает Сергей Павлович. Ну, прямо эпилог «Аиды»!

— Так что же, приехали-то из милиции и «Старого Петербурга» (они там все старые пердуны, неповоротливы и ленивы!)?

— Приехали. И милиция заупрямилась, не хотела было отдавать скелеты и инвентарь обществу: тут, мол, нужно решение ГПУ: мало ли, мол, что . . . Но позвонили Кирову — он распорядился...

— Да, Сережа . . . Почитайте-ка Пыляева. О графе Девьере такое, помнится, рассказывают, — и у Мельникова-Печерского есть рассказец на ту же темку. Вот как, бывало, с неверными женами разделявались. И с их любовничками. Так цепи, говорите, на ногах были совсем короткие, а на руках много подлиннее?

— Предусмотрительными люди-то в те времена были, — сочувственно ухмыльнулся Савелко, — лапаться — лапайся, а блудить и в смертной камере не могли . . .

— Да и не только неверных жен замуровывали: вот, недавно совсем, обвалился свод в вылазных воротах новгородского кремля, и обнаружилась в стене, над воротами, камерка с тронным креслом, а к креслу прикован скелет: это Иван Грозный замуровал последнего казанского царевича, уже крещенного . . .

— А об этом обо всем нужно бы рабочим нашим в клубе рассказать, а то разговоры уже идут

о находке по всему тресту, особенно среди сезонников, — заметил Медведев.

— И то правда: я разъясню, — согласился отсекр коллектива Савелко.

Вот эти камни . . . Сколько в них любили
И мучились, и лгали, убивали,
А ныне только тонкий стебелек
Кустарника пробился в щели свода,
Да обвалившаяся лестница хранит
Следы давнишних торопливых ног,
Спешащих на запретное свиданье . . .

— Сереженька, да какие же это стихи . . . И еще без рифмы! — Наташа сидела у меня, в моей крохотной комнатенке. Сидела на кровати, к которой был придвинут стол: стул у меня был один. Мне удалось раздобыть вкусной кабачковой икры и яблочного мармеладу, и я зазвал к себе на чай Наташу.

— Наташа, а пушкинские «Борис» и маленькие трагедии — тоже ведь белые стихи, — и, заметив, что выражение «белые стихи» ничего не говорит Наташе, пояснил: без рифмы.

— Так то в пьесной форме, для театра. А ты вот стихи без рифмы сочиняешь . . . Что тебе — трудно, видно, рифму подобрать? А как ты думаешь, целовались они еще перед смертью? А?

— Может быть. А, может, наоборот: с ненавистью глядели друг на друга: вот до чего дошло: довела, мол, меня! Довел, мол, он меня! . . А, впрочем, и глядеть-то они не могли в эдакой тьме крошечной . . .

— . . . Я представляю себе его, князя Дубицкого: генерал-поручик в отставке, лысоват, но крепок. Ходил с Апраксиным на Берлин, был неукротимо отважен и свирепо крут. На старости лет ступал неслышно в мягких плюсовых полусапожках

— подагра одолевала, — и изредка — по делу — заходя в людские, морщил короткий широкий нос и брезгливо встряхивал крепко надушенный платок из тончайшего батиста: холопьева духа не переносил совершенно. А она — она из тихих захолустных дворяночек, взята за исключительную красу, чуть ли не во внучки ему годна, все с книжками и стишками по тогдашней сентиментальной моде, — вроде, скажем, «Истории девицы Стернгейм, по ее письмам и другим достоверным источникам» или «Чувствительного пастушка». У князя — гарем, пьянство, картеж, беспутство. Метрески из дворовых девок, мертвецки бледнеющие от страха при виде князя, не слишком-то считаются с княгиней: обнаглели холопки бесстыжие... А сам князь, когда соизволит разделить с княгиней ложе, в любви груб и охален, избивает, часто хмельной и в чужом любовном поту, — и уйдет, даже не поцеловав...

— А он-то кто? Тот, что погиб вместе с княгиней? — расширились глаза у Наташи.

— Ну, скажем, какой-нибудь архитекторский ученик из солдатских детей. Послан был за талант в Италию, совершенствовался в парижской академии, пригож был и тих. Перестраивал что-то у князя, приглянулся заброшенной княгине, вечно напевавшей за клавирами еще из мелкопоместной глуши вывезенное:

Ох! тошно мне
На чужой стороне,
Всё уныло,
Всё постыло, —
Друга милого нет;
Не глядеть бы на свет...

— Отпевали княгиню в закрытом гробу — слухи расползались по городу тогда же... Но князь-

то был в силе — сродни был самому Ланскому: замолчали. А гроб-то был пустой...

— Откуда ты знаешь все это? — потянулася ко мне всем своим ладным телом Наташа. Вместо ответа я поцеловал ее в наморщившийся носик...

— Жируют, дьяволы, любятя, а ты тут спи, — заворчал за тончайшей перегородкой сосед — старый рабочий-партиец Кононов.

— Может, Митя, они уже задрыхли, помолчи сам, — унимала соседа жена.

— Держи карман шире! Разве спал я-то с бабой, как было мне двадцать пять?.. Всю ночь, небось...

— Эк расхвастался! Ишь, приткий... Да ну тебя! Оставь! Чего кобелишься?! Спать пора — завтра чуть свет ведь на завод... — Но в голосе соседки преобладали довольные нотки.

— ...типичное проявление феодализма. И отношение к женщине в период позднефеодально-крепостнического периода распада привычных социально-экономических форм было собственническим, как к товару... Еще Маркс гениально представил это в формуле...

В клубе строителей было накурено, как в кратере действующего вулкана. Председательствующий Медведев чутко дремал за столом, покрытым кумачем. Роберт Савелко окончательно завяз в формулах марксизма-ленинизма:

— ...отдельная семья стала основной социально-экономической ячейкой общества и, как гениально формулировал Энгельс...

Савелко раскрыл широко рот, чтобы побольше вобрать в себя воздуха, но очнувшийся от оцепенения председательствующий Медведев, взглянув на окончательно взопревший зал, застучал карандашом по столу:

— Так вот, товарищи. Наш уважаемый товарищ Савелко подвел марксистско-ленинскую базу под тот факт, что вскрылся на днях на одной из наших строек. А фактура дела такова: было это еще при царизме, аж еще при крепостническом помещичьем феодализме. Ну, следовательно, у старика-князя женка была молодая и красивая. Вот и схлестнулась она с молодым парнем, из трудового народа. А муж их и накрыл. И враз замуровал обоих в стену, в камору эту...

— И у нас на селе такую курву проучили бы, — им только дай поблажку, — слышались в зале явно сочувствующие голоса тех, что постарше. — Шш, — зашипели на них другие, а Медведев поспешил со своим разъяснением дальше:

— Чтобы доле помучились, даже питья им и еды оставил, а обоих приковал к стене и креслам: сверху так, чтоб могли не только еду принимать, но чуть ли не обниматься, а снизу, по ногам, совсем накоротко: чтоб никаких непредусмотренных движений и поступков...

— Озаботились, значит, спроектировали на совесть, — хохотнули в зале.

— И вот так-то зверствовали бары — помещики и капиталисты — над нашим братом — трудящим народом, — и ничего им за это не было — закон-то был в их руках, на ихней стороне...

— Пойдем ко мне, Наташенька. Поздно сейчас тебе на твою Полтавскую тащиться...

— Обзаконился бы ты с Наталкой, — ворчала поутру соседка: — девка ядреная, что твой грецкий орех, и характер подходящий... А то поиграешь с ней — да и в кусты...

— Я, Лизавета Ивановна, и рад бы, да меня скоро угонят в Надеждинск на стройку — куда же ей в такую дѣть тащиться...

— А и на Урале люди живут. Чего она тут, в Питере этом, не видела? Или ты и бежишь-то на Урал, чтоб не обзакониться?

А вечером ко мне склонился сморщенный мило носишко Наташи:

— Ну, что же, пожалуй, и поедем. А только, милый, — нельзя ли похлопотать, чтобы не усылали? чтобы здесь остаться?

— Нет, ты подумай: ну, совсем разные. А имена: ты не согласишься: Ульяна Тихоновна и Альфред Оскарович. Он — эстонец. Она — кержачка. Да, из бывшего Семеновского уезда. Неподалеку от Светлояра. И сама: глаза светлосерые, пепельные волосы, походка: «а сама-то величава, выступает словно пава». Только бы на нее повойник да сарафан... Ну, да — сам увидишь. А он — тоже увидишь, впрочем. Но умница. И очень, очень порядочный. Из тех коммунистов, что не из-за карьеры только. Не веришь? Ну, конечно, теперь таких раз-два, да и обчелся. Но Альфред — молодчага. Когда арестовали Митю, я очень боялась за себя. Неужели выгонят с волчьим билетом? Неужели выезжать из Питера? Пришла к Альфреду сама не своя: — «Митя арестован. Может, подать самой заявление об уходе по собственному желанию? Что посоветуете, Альфред Оскарович?» — и жду с замиранием сердца ответа: а вдруг скажет: — «Да, подавайте. Нам вас держать на работе никак нельзя: институт связан с оборонной промышленностью»... А Альфред долго-долго молчал, походил по кабинету, постучал в раздумье пальцами по стеклу окна, а потом повернулся ко мне, побледневший, но решившийся: — «Оставайтесь на работе, Аглая Михайловна. Вы — ценный и старый наш сотрудник. А что арестовали Дмитрия Николаевича, — то это нас не касается: я постараюсь, чтобы вас не тревожили: да и какая семья сейчас без арестованных? — «Сегодня ты, а завтра я», — прибавил он, чуть подпевая. А ведь сам как рисковал: он — директор института, старый боль-

шевик, ученый, не всегда скрупулезно-точно придерживающийся партийных установок в его науке . . . И сам-то не раз бывал под ударом, особенно, когда этот подлец Кондратенко . . . Ну, сам его увидишь. А тебе он поможет, я уверена . .

Мое положение, действительно, было безвыходным. Месяц назад я освободился из лагеря НКВД, где провел, правда, всего пять лет — срок по тем временам детский! — за так называемую «антисоветскую пропаганду». Но на мне еще висело пять лет лишения избирательных и прочих гражданских прав, а как «политический» я не имел права не только вернуться в Ленинград, на свою кафедру в институте, но и просто заехать хотя бы на денек в свой родной город: любой милиционер, задержав меня, скажем, за неправильный переход улицы, мог потребовать предъявления личных документов, — и — по особым отметкам на моем паспорте — арестовать меня «за нарушение паспортной дисциплины и посещение запретной зоны». И все-таки я не только страстно рвался в Питер, но и не мог ни приехать в него тайком, так как только в Ленинграде оставались у меня друзья, которые, может быть, были в состоянии мне помочь.

При освобождении из лагеря вы указываете место — город или поселок, — где вы собираетесь поселиться: это ваше местожительство должно отстоять от столиц и пограничной зоны не ближе, чем на сто или двести километров. Вы не можете также поселиться и в крупных промышленных и культурных центрах. По прибытии в избранный вами город, вы обязаны явиться на отметку — а затем являться каждый месяц — в регистрационный стол НКВД при местном отделении милиции. И должны сразу же — на новом месте жительства — найти работу. Если вы в течение, скажем, трех

недель не найдете работы, НКВД и милиция высылают вас из города, как «паразита, проживающего на нетрудовой доход» и как социально-опасный элемент. А попробуйте-ка поступить на работу! — «Да, нам очень нужны квалифицированные специалисты, — встречает вас с распростертыми объятиями руководитель учреждения: — у нас, в провинции, кадры — узкое место: это вам не столица». Но стоит предъявить документы с их каиновыми отметками, и лицо говорившего с вами начальства становится непроницаемым: — «Придите за ответом завтра». А завтра вас встречает уже не начальство, а делопроизводитель отдела кадров: — у нас нет для вас работы... — А в регистрационном столе НКВД уже покрикивают: — «Хотите опять пожить «на севере диком»? Нет? Так поторапливайтесь с устройством на работу»... Вот и выходи из положения! Слава Богу еще, что до Питера — одна только ночь езды на поезде. А там — все-таки не всех же друзей переезжали!

Аглаю я встретил на концерте в Филармонии. Мне, конечно, говорили: — «Побойся ты Бога, Андрей, — неужели ты не удержишься — и заявишься в оперу и в филармонию?! Ведь тебя могут там встретить и те, которых ты встречать не хочешь и не можешь: узнают, донесут — вот тебе и второй срок»... Но люди много лучше, чем о них думают и говорят: да, меня в Филармонии узнали все. И все, даже знакомые партийцы, радостно жали руку, спрашивали, поздравляли. А когда я шел из раздевалки в зал, кто-то сзади крепко обнял меня за шею:

— Андрюша! Ты?!

Никогда мы с Аглаей не переходили на «ты», но она так горячо и искренно обрадовалась встрече со мной, что все это не показалось ни странным, ни необычным.

— Ну, конечно, придумаем что-нибудь. Да, кстати, ты ведь можешь и не поступать на постоянную работу. Митя тоже в таком же положении: он освободился полгода назад: живет в Череповце. Я езжу к нему раз в два-три месяца. Так вот он получил от ленинградского университета сдельную работу — переводы. И этого оказалось достаточно для НКВД. Но не для жизни, конечно, — улыбнулась Аглая. — Для жизни этой работы недостаточно: приходится мне помогать. Но я — я-то двужильная! У меня сил еще много! Вот и тебе нужно похлопотать о сдельной работе. И получить официальную справку от давшего тебе работу учреждения . . . Пстой, я завтра же сведу тебя к моему директору: Альфред не побоится помочь. И с ним можно говорить по-человечески . . . А где ты ночуешь? — И, увидав мое замешательство, категорически отрезала: — Глупости. Переночуешь у меня: не возражай: я живу с мамой и дочкой — ничего тут особенного нет.

Я вспомнил, как шарахнулась от меня при сегодняшней встрече та женщина, которую я так любил до ареста, и возразил: — Ты, Аглая, должна понять — как строго карается предоставление убежища и ночлега таким, как я . . .

— Прекрати болтать глупости, — оборвала меня Аглая: — мы ведь давние друзья . . .

О, как хорош был этот разлет темных бровей, эти решительные глаза и гладко причесанная маленькая голова с туго закрученными в узел косами! И вся Аглая, как тростинка, с упругой походкой: прямо — пружина.

— Она всегда такая, — рассказывала мне наутро ее мать, старая, но еще красивая аристократка — не из тех, что опустились и съежились в новых трудных условиях: таких не сломишь! Аглая ушла на службу, а я остался еще у нее на квартире.

— Вот только не повезло ей с мужем: Митя — неплохой человек. Но не по нашему времени. И не для такой, как Аглая. Он — податливая, чуткая, чистая душа, мечтатель, очень интеллигентен. Но — тряпка. Нет, никого не предал на допросе. И не предаст. Даже на пытке, пожалуй. Пассивного сопротивления у него достаточно. Но бороться за жизнь, за какое-то довольство, за благополучие семьи — нет, это не для него. Ему бы в схимники, а не с женой жить. Всё Аглая, всюду Аглая, обо всем Аглая. Вы знаете, когда арестовали Митю, Аглая ринулась в Москву, добилась — и это без всяких связей! — свидания с самим Вышинским, что-то доказывала, о чем-то молила — и Митю, представьте, освободили. Да, освободили. Но через месяц арестовали снова — по новому обвинению. Вы думаете, Аглая смирилась? Как бы ни так! Ее не остановили прямые угрозы ленинградского НКВД, начальник которого призвал как-то Альфреда Оскаровича и приказал объявить Аглае, что НКВД не потерпит больше ее вмешательства в их дела. Нет, она опять укатила в Москву. Но уже — на этот раз — ничего не добилась, конечно. Вот она какая! А ей досталась такая размазня! Прости меня Боже, как не люблю я этих хваленных тихих русских мальчиков с походкой иноков в миру! Слава Богу, Надеюшка уродилась не в отца: вся — огонь, сама жизнь . . . Эх, не такого бы ей мужа, моей Аглае!

Вечером Аглая повела меня к Альфреду Оскаровичу. Дом стоял на Екатерининском канале (ныне «писателя Грибоедова»; «писателя» — чтобы не обознались), у Львиного мостика, на задумчивом извороте обсаженного деревьями узкого протока. И дом был удивительный — екатерининский или «дней Александровых прекрасного начала». Ши-

рокая лестница. И старинный — не электрический, а заливчато-колокольчиковый — звонок.

Дверь отворила хозяка — чуть излишне полная, вальяжная, плывущая лебедью. Серые мохнатые глаза, пепельные косы — косы ниже пояса:

— Простите, я по-домашнему. Осторожно: здесь ступенька: ведь дом наш — совсем старый. Здесь еще Гнедича и Крылова потчевали, Пушкина принимали. И в нашу столовую нужно подняться на ступеньку. А оно, что дом старый, и лучше: в старых домах, обычно, душевнее. Правда, в нашем . . . — и она оборвала, многозначительно переглянувшись с Аглаей.

В столовой — она же служила и кабинетом Альфреду Оскаровичу — стояло много книжных полок. Тесно-тесно прижавшись друг к другу, стояли «классики марксизма-ленинизма» — все в чистеньких переплетах, все в строгих и стройных рядах. И стояли так чинно, чисто, упорядоченно и тесно, что сразу было явно: к этому строю книг хозяин прикасался только в редчайших случаях — для обязательной цитаты в предисловии или на партийном собрании. Но книг по технологии, математике, химии было такое множество, что они никак не уместались на полках, даже в два ряда, и лежали на подоконниках, на письменном столе и даже на спинке дивана. Я люблю квартиры, затолканные книгами, и они сразу хорошо располагают к хозяевам. А серьезный, спокойный, седоватый и лысеющий хозяин и сам был достаточно привлекательным. Коренастый, ширококостый, но никак не жирный, мускулистый и почти белоглазый, он решительно и коротко пожал мне руку — и сразу же, без ненужных проволочек, заговорил о деле:

— Аглая Михайловна рассказала мне всё. Ну, конечно, дать вам работу по проектированию но-

вых цехов никак нельзя. Но мы проектируем и рабочий городок — там кое-что, в частности, составление смет, — мы можем сдать и на сторону. Сдельно. Согласны? Ну, вот и отлично. А вот вам и официальная справка — для стола НКВД при вашей милиции. Я ее заготовил заранее, не сомневаясь в вашем согласии работать для нас. Да, охотно верю, что вы — просто жертва. Мало ли их было за последнее время?!

— Что это?! Опять?! — вдруг вскинулся в каком-то необычном гневе наш сдержанный и хладнокровный хозяин.

Невольно и я обернулся в ту же сторону: из спальни в столовую промелькнуло, противно извиваясь в воздухе, что-то вроде лисьего хвоста — без туловища, без головы, без ног.

Мы с Аглаей, видя полную растерянность хозяев, поспешили распрощаться, наскоро условившись, что за проектным заданием и необходимыми для работы материалами я зайду завтра — нет, лучше не на службу, а на квартиру, к нему, как поправил меня осторожный все-таки Альфред Оскарович.

— Это уже не впервой, — рассказывала мне по пути домой Аглая. — Завелась в их квартире какая-то мелкая нечисть. Ну, Ульяна-то хотя бы из староверов, даже из бегунов или из федосеевского согласия, а Альфред-то ведь смолоду атеист и большевик, если и не материалист, то, во всяком разе убежденный естественник-невер. А вот и он тоже видит эту — кикимору, что ли...

— Нет, кикимора — это что-то другое: кикимора ведь — прежде всего, девка. Даль помнится, говаривал, что т а к о е называется иначе: и г о ш а . Эта нежить — без рук и без ног. Это — ребяташки, помершие до крещения: заспанные или

удавленные, как пригулки. И, как кажется, появление игоши — не к добру . . .

— А ты знаешь, Ульяна говорила мне как-то, что года два тому назад родился у них с Оskarовичем мальчонка. Да оказался не жильцом на этом свете: помер недель двух-трех. Не успела она его и окрестить: не оправилась еще сама, а крестить-то надо было, конечно, втихую: Альфред бы не допустил . . .

На следующий день пришли мы к Альфреду Оскаровичу затемно. Он уже приготовил для меня не только задание, но и некоторые расчеты и материалы, поговорил минут пять по делу, — а потом пригласил к столу. Водочка как-то невольно развязывает язык даже таким скупым на слова людям, как наш хозяин:

— Вы сами понимаете: что греха таить: материалистом, даже диалектически, я не могу остаться: я — физико-химик, мне приходится следить за современной научной литературой: тут уж не будешь веровать в «Антидюринга» и «Материализм и эмпириокритицизм» Ильича! Но не могу же я уверовать и в какую-то мистику! И вот мне, старому коммунисту-ученому, инженеру-физику — и вдруг какое-то . . . Да нет, не привидение! Это — не галлюцинация! Ведь и жена видит его, и вы видели вчера, и Аглая Михайловна видела — да еще, кажется, не раз . . . И вот — является, проклятое, уже два года таскается по комнатам — чуть ли ни каждый месяц нас допекает. И не пойдешь в жилотдел: перемените, дескать, квартиру. Ведь спросят: а почему, собственно говоря? Квартира — первый класс, до работы — рукой подать, жилплощадь — даже с избытком . . . Что им скажешь? И хотя бы являлось-то что-нибудь поприличнее: вот, у романтиков в их пьесах — являются всяческие бледные дамы, окровавленные

младенцы, скелеты на худой конец... А тут — на тебе! — Один хвост. Ну, что это? Раз я — коммунист, то мне и чертовщина являться должна, скажем, третьего сорта, — невесело рассмеялся хозяин.

Хозяйка же как-то безучастно смотрела и не смотрела на нас, а ее слабо накрашенные губы как-то машинально и беззвучно шевелились. Я вслушался — и уловил обрывок какой-то старинной песни-приплячки:

На него, дитю малого, креста не надёвано,
Я его, дитю малого, и не подпоясала —
Не во что ему, моему дитятку,
В вертограде Господнем гуляючи,
Виноградье собирать да вишенье —
Нет у дитятка для этого запазухи...

— Опять, Ульяша?! — простонал ее муж. — Оставь. Что ты все время бередишь себя?

— Нет, не поверю, что все некрещенные младенцы — там, внизу, — ничего не видя шептала Ульяна Тихоновна: — ну, чем они-то, младенчики, виноваты? Богородица того не допустит... А вот — не опоясала я его, как в гробичек...

— Ох, уж эти мне нервы, — продолжал между тем хозяин, сломав несколько папирос и еле-еле раскурив, наконец, одну, кое-как засунутую в обкусанный мундштук. — И все это — конечно, нервы. Нервы и нервы. А вам всем я сам, конечно, внушаю этот проклятый, трижды окаянный хвост. Не может же быть, чтобы даже потустороннее, если оно существует, было таким оскорбительно-нелепым...

— Не надо, Альфред... Не надо так, — шептала его жена.

— До свиданья, — поспешил я оставить хозяев наедине с их невеселыми воспоминаниями.

— До завтра, Аглая Михайловна. Всего лучшего, Андрей Алексеевич, — и хозяева не без облегчения простились с нами.

*

Уже через полгода я узнал, что при первом же налете немцев на Ленинград, одной из первых была убита Аглая. Какова же судьба Альфреда и Ульяны — я этого не знаю до сих пор.



СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	4
1. Ленинградский Петербург	5
2. Санкт-Петербурх Петра и Петербург Пушкина .	10
3. Петербург Гоголя и Достоевского	16
4. «Питер, что народу бока повытер»	21
5. Петербург-Петроград революционного предбурья	25
6. Петербург-Петроград революционного предбурья	29
7. Ленинградский Петербург	33
8. Ленинградский Петербург	36
9. Легенды Ленинградского Петербурга	41
10. Легенды Ленинградского Петербурга	46
Ленинградский Петербург. Далекое в недавнем:	
Лестничная клетка	51
Оно	62